



## Российская академия (1783–1841)

В. П. Вомперский,

доктор филологических наук

22 января 1724 г. на заседании Сената Петр I одобрил подготовленный по его распоряжению проект об учреждении в России Академии наук и при ней Академического университета. По плану Петра I, Академия мыслилась не только как научно-исследовательское учреждение, но и как высшее учебное заведение.

В проекте говорится: «Универзитет есть собрание ученых людей, которые наукам высоким, яко феологии и юриспруденции (прав искусства), медицины, философии, сиречь до какого состояния оные дошли, младых людей обучают. Академия же есть собрание ученых и искусных людей, которые не токмо сии науки в своем роде, в том градусе (в ученой степени.— В. В.), в котором оные обретаются, знают, но и чрез новые инвенты (издания) оные совершить и умножить тщатся, а об учении протчих никакого попечения не имеют» (История Академии наук СССР. Т. I. (1724–1803). М.—Л., 1958. С. 429).

Собственно Академия делилась на три класса: математический, физический и гуманитарный. В математический и физический классы входили восемь кафедр. Гуманитарный цикл составляли только три кафедры: красноречия и древностей, древней и новой истории, права и политики. Академия наук в Санкт-Петербурге была создана как научно-исследовательское учреждение физико-математического и естественно-биологического профиля.

По проекту устава Академии, в отдел «гуманнора, истории и право» входили три академика, один из которых должен был заниматься элоквенцией и древними языками. Исследования по филологии, по русскому языку и литературе в Санкт-Петербургской Академии не велись. Филологические

дисциплины имелись только в Академическом университете, и то как учебные.

Следует отметить также и то обстоятельство, что в европейской культуре XVII–XVIII вв. существовала традиция параллельных академий, которую учли при создании Академии наук в Санкт-Петербурге ее основатели. Так, например, во Франции математические и биологические науки были представлены в Академии наук, исторические науки – в Академии надписей, французский язык и литература – во Французской академии.

Первым научным филологическим учреждением в России, которое поставило перед собой задачи «исправления языка русского, сочинения грамматики и лексиконов, на том основании, как во Франции» и перевода сочинений с иностранных языков на русский было Российское собрание, основанное в Петербурге в 1735 г. В. К. Тредиаковским.

Российское собрание не смогло выполнить те задачи, которые оно поставило перед собой и посему прекратило свое существование в 1743 г. Из крупных работ, выполненных членами Российского собрания, можно назвать «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) В. К. Тредиаковского. Уже после закрытия Российского собрания В. К. Тредиаковский издал важный труд по русской грамматике и орфографии: «Разговор между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой» (1748).

С 40-х годов XVIII в. начинается филологическая деятельность М. В. Ломоносова. В своих трудах («Риторика», 1748; «Российская грамматика», 1755; «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке», 1758) он заложил основы научного изучения русского языка, его грамматического строя, словаря, системы стилей.

Во второй половине XVIII в. центром грамматической разработки русского языка становится Московский университет. Профессор А. А. Барсов и возглавляемая им кафедра красноречия проявляют живой интерес к изучению грамматики русского языка. Перу А. А. Барсова принадлежат «Краткие правила российской грамматики» (М., 1781). Большое значение для становления науки о русском языке имеет его же пространная «Российская грамматика» (Известная ранее только по рукописи, она сейчас опубликована в кн.: Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова. Подготовка текста и текстологический комментарий М. П. Тоболовой (Под редакцией и с предисловием Б. А. Успенского). М., 1981). Следует также отметить значительную издательскую деятельность Н. И. Новикова, который напечатал в типографии Московского университета много двуязычных словарей с «российским переводом».

В 1771 г. при Московском университете было образовано Вольное Российское собрание. Это научное общество просуществовало до 1783 г. и поставило перед собой задачи «исправления и очищения российского языка», «сочинения правильного российского словаря по азбуке» и издания оригинальных стихотворных и прозаических произведений на русском языке и переводов с иностранных языков. «Вольное Российское собрание» имело

свое периодическое издание «Опыт трудов Вольного Российского собрания» (всего было издано 6 томов).

Деятельность филологических обществ 30–80-х годов и заслуги отдельных исследователей в развитии науки о русском языке оставили заметный след в истории отечественной культуры. Однако передовые общественные деятели, ученые, писатели постоянно высказывали мысль о создании в России специального научного центра – филологической академии. Об этом неоднократно говорил М. В. Ломоносов, писал А. П. Сумароков, отмечая, что Академии наук в Санкт-Петербурге лишь в «науках, а не в словесных науках упражняется» и что «Россия никакова не имеет собрания, пекущегося о языке и словесных науках» (Сумароков А. П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе. М., 1782. Ч. X. С. 5, 38).

Наконец, идея создания филологической академии получила практическую реализацию. «Директор Санкт-Петербургской Академии наук» Е. Р. Дашкова, энциклопедически образованная женщина, занимавшаяся филологией, биологией, минералогией, журналистикой, подготовила по поручению Екатерины II «План» (Устав) Российской академии. 21 октября 1783 г. состоялось открытие Российской академии, на котором Е. Р. Дашкова, назначенная одновременно и «председателем Российской академии», выступила с речью о задачах изучения русского языка.

«Вам известны, – говорила она, обращаясь к членам Российской академии, – обширность и богатства языка нашего. На нем сильное красноречие Цицероново, убедительная сладость Демосфенова, великолепная Вергилиева важность, Овидиево приятное витийство и гремящая Пиндара лира не теряют своего достоинства; точчайшие философические воображения, многоразличные естественные свойства и премепы, бывающие в сем видимом строении мира, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи; однако при всех сих преимуществах недостовало языку нашему предписанных правил, постоянного определения речевиям и непременному словам знаменования. Отсюда происходили разнообразность, в сопряжении слов несвойственные, или паче речи, обезображивающие язык наш речения, заимствуемые от языков иностранных; учреждением сей императорской Российской академии предоставлено усовершить и возвеличить наше слово

Многоразличные древности, рассыпанные в пространствах отечества нашего, обильные летописи, дражайшие памятники деяний предков наших, какими немногие из существующих поные европейских народов поистине хвалиться могут, представляют упражнением нашим обширное поле . . . Сочинение грамматики и словаря, да будет первым нашим упражнением» (Сочинения и переводы, издаваемые Российской академиею. Ч. I, СПб., 1805. С. 9–11).

Главным предприятием Российской академии в период руководства Е. Р. Дашковой был «Словарь Академии Российской» (1789–1794), принесший неоценимую пользу культуре и просвещению России. Это был первый толковый словарь русского литературного языка – важнейшая веха в исто-

рин отечественной лексикографии. В словаре была разработана система толкования значений слов, которая затем использовалась во всех последующих словарях. Впервые в истории отечественной лексикографии составители описали принципы стилистической характеристики слов русского языка.

«Словарь Академии Российской» составлялся 11 лет, это срок очень короткий (Французская академия, например, создавала толковый словарь французского языка на протяжении 60 лет). Из 60 членов Российской академии в составлении Словаря участвовали 47, так что «Словарь Академии Российской» был общим трудом не только по названию, но и в действительности.

Успешной работе способствовали хорошая организация труда лексикографов и умелое использование предшествующего опыта составления словарей. Сведения, необходимые для толкового словаря, составители находили в печатных и рукописных источниках.

Много слов и выражений было заимствовано из церковной литературы. Значительное место среди источников занимают памятники древней русской литературы. Обширно представлены летописи. Много примеров взято из «Русской правды», «Синописа», «Судебника» и «Уложения 1649 года». В качестве иллюстраций использовались также современная научная литература, литературно-художественные и научные журналы.

Составители Словаря постоянно обращались к филологическим и эстетическим идеям М. В. Ломоносова. Его влияние обнаруживается повсюду: в выборе слов и примеров, в способе их объединения, в стилистических характеристиках, во взгляде на литературный язык. В основу Словаря составители положили грамматические и стилистические идеи М. В. Ломоносова, изложенные в «Российской грамматике» и в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке». Академик М. И. Сухомлинов подсчитал, что из общего числа примеров, взятых из произведений художественной литературы XVIII в., более 9/10 приходятся на иллюстрации из произведений М. В. Ломоносова. Составители цитируют также произведения Феофана Прокоповича, А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова, В. П. Петрова, Екатерины II, Я. Б. Княжнина, Н. Н. Поговского и др.

«Словарь Академии Российской» появился в эпоху, для которой были характерны поиски национальной языковой нормы и стремление к регламентации речевого употребления. Это нормативный словарь, описавший в исторической перспективе лексическую систему русского литературного языка второй половины XVIII в. Он был издан в шести частях (томах) с 1789 по 1794 г. В нем помещено 43 257 слов, расположенных по гнездовому, этимологическому принципу.

Основной пласт «Словаря Академии Российской» как словаря нормативного составляет нейтральная лексика, употребляемая во всех стилях русского литературного языка второй половины XVIII в..

Для обозначения живой, народной речи используются пометы «просто», «просторечье» и «простонародное». Помета «просто» или «в обыкновенном

языка употребления» применяется для характеристики лексики народного языка и вообще живой разговорной речи, которая противопоставляется книжному, устаревшим или мертвым формам церковнославянского языка, или словам, составляющим характерную особенность высокого литературного стиля. К «простонародному употреблению» составители относят те слова и фразеологизмы, которые свойственны речи простого народа, т. е. связаны с демократическими слоями общества, с городской и крестьянской средой. В понятие «простонародное» входят также формы, характеризующиеся по представлениям стилистики того времени «низкой» экспрессией и употребляющиеся в языке произведений «низкого слога»: в «низкой комедии», в «простонародных песнях», в комической опере.

В Словаре есть и диалектная лексика, но она дается выборочно. Составители руководствовались в данном случае личными вкусами или выбирали те слова, которые употреблял в своих стихотворных произведениях М. В. Ломоносов.

Значительную часть лексики Словаря составляют слова с пометой «славянской» («слав.»). Эта помета сопровождала слова, которые были извлечены из библейских текстов и церковных книг: старославянизмы, древнерусизмы, заимствования из греческого и латинского языков.

Составители вводят в Словарь и такую категорию слов, которую они называют «старинными» или «обветшалыми». Как считали авторы «Словаря», устаревшие, мало или редко употребляемые слова, заимствованные из различных исторических источников, способствуют пониманию истории русского народа, старого быта и культуры, народной психологии.

Проблема заимствованных слов была решена следующим образом. Те из них, которые «уже издревле вошли в язык российский от общения и соседства с азиатскими народами; некоторые слова греческие, в священном писании употребляемые, и те, кои по корню российскому произвесть и вновь составить неудобно, как то в математике *интеграл*, *дифференциал* и сему подобные; наконец, и те, кои означают должности и чины, — должны быть помещены в словарь».

Члены Российской академии считали необходимым помещать в Словарь те заимствования, которые издавна вошли во всеобщее употребление: «Если на место сих и подобных им делать вновь, то их труднее будет ввести в общее понятие и употребление, нежели удержать те, кои долговременным употреблением усвоены в языке нашем» (Сухомлинов М. И. История Российской академии. Вып. 8. СПб., 1888. С. 127–128).

При выборе технических слов и выражений, а также терминов ремесел Академия стремилась удержать их в Словаре на том основании, что эти названия «большей частью суть народные». Приводимые слова и выражения обыкновенно называются речениями или наречиями. Словарь описывает военные, мореходные, торговые, плотнические, пивоварные речения, речения каменщиков, сапожников, кожевников и т. п.

Что касается терминов математики, химии, астрономии, физики, геологии, медицины, географии, то здесь лексикографы придерживались сле-

дующего правила: включать в Словарь те термины, которые выражают необходимые и главные понятия науки.

Сразу после смерти Екатерины II (в ноябре 1796 г.) последовал указ Павла I об увольнении Е. Р. Дашковой с постов директора Санкт-Петербургской академии наук и председателя Российской академии. Председателем Российской академии был назначен П. П. Бакунин.

После смерти Павла I в 1801 г. председателем Российской академии стал А. А. Нартов, который руководил ее деятельностью до 2 апреля 1813 г.

Почти в одно и то же время Академия приступила к подготовке главных своих трудов. 5 августа 1794 г. в Академии был учрежден грамматический отдел, которому было поручено составить новую «Российскую грамматику», руководствуясь «наиболее грамматиками Максима Грека (имеется в виду московское издание „Славенской грамматики Мелетия Смотрицкого“ 1648 г. - В. В.) и Ломоносова» (Сухомлинов М. И. Указ, соч. С. 195).

В 1802 г. в Санкт-Петербурге была напечатана «Российская грамматика, сочиненная императорскою Российскою академиею» (авторы - члены Академии П. И. Соколов, Д. М. Соколов и И. И. Красовский). «Российская грамматика» выдержала несколько изданий. Второе издание вышло в 1811 г., третье - в 1819 г. Третье издание грамматики было встречено резкой критикой. Критик журнала «Сын Отечества» находил, что «Грамматика» не включает в себе научного исследования свойств русского языка и должна быть отнесена к числу простых учебников.

При вступлении в должность председателем Российской академии А. А. Нартов представил обширную программу ее деятельности. Он предложил переработать и издать «Словарь Академии Российской», расположив весь его лексический материал по алфавиту, работать над усовершенствованием «Российской грамматики», составить пособия по логике, риторике, поэтике, сделать переводы на «язык отечественный знаменитых классических древних и новейших писателей».

Но эта программа была выполнена лишь отчасти, так как наметился заметный спад в деятельности Российской академии. Осуществилось издание переработанного и дополненного «Словаря Академии Российской» (1806-1822). Весь лексический материал Словаря был расположен по алфавиту. В новом издании были помещены уже 51 388 слов.

Последним президентом Российской академии был известный языковед вице-адмирал А. С. Шишков, который руководил Академией со 2 апреля 1813 г. по 10 апреля 1841 г. К тому времени, когда А. С. Шишков был назначен президентом Российской академии, его языковедческие исследования получили широкое распространение среди специалистов и читающей публики. Преподавая тактику в Морском кадетском корпусе, он одновременно серьезно занимался языкознанием.

В 1795 г. А. С. Шишков напечатал «Трехязычный морской словарь на английском, французском и российском языках». В 1803 г. он опубликовал полемическое «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», а в 1804 г. «Прибавление к рассуждению о старом и новом слоге россий

ского языка» Эти сочинения были направлены против языковой практики писателей карамзинской школы, против злоупотреблений заимствованной из французского языка лексикой и фразеологией, против искусственных новообразований по иноязычным моделям. К этим трудам примыкает и его «Рассуждение о красноречии священного писания и о том, в чем состоит богатство, обилие, красота и сила русского языка и какими средствами онный еще более распространить, обогатить, усовершенствовать можно» (СПб., 1811). Заслуживают быть отмеченными и работы А. С. Шишкова по изучению русских предлогов, и исследования по морской терминологии. В 1832-1840 гг. он опубликовал трехтомный «Морской словарь», содержащий объяснения всех названий, употребляемых в морском искусстве.

Желая придать научной деятельности больший размах, А. С. Шишков предложил новую программу работы Академии, состоящую из одиннадцати пунктов. А. С. Шишков считал, что необходимо создать серию новых словарей - словопроизводный русского языка, сравнительный всех славянских наречий, «технический, или собрание слов, употребляемых в науках, художествах и рукоделиях», «словесных наук, или собрание слов, употребляемых в умословии, стихотворстве, истории, риторике и грамматике», написать всеобщую риторику, частную риторику, российскую грамматику, поэтику, орфографические правила русского языка, издать «собрание отличных сочинений, избранных из российских авторов» и «переложить на российский язык иностранных классических писателей, и преимущественно древних».

Программа А. С. Шишкова отличалась грандиозностью замысла. Однако этот план был очень сложным для исполнения, так как в составе Академии было немного ученых-филологов, которые могли бы работать над реализацией этой научной программы. Кроме того, многие филологи не разделяли лингвистические взгляды А. С. Шишкова.

В 1813-1841 гг. научная работа Академии велась в следующих направлениях. В соответствии с положением второго академического устава (1813), было решено приступить к созданию общеславянского сравнительного словаря. Мысль о его составлении определялась не только общелингвистическими целями, но была вызвана общим направлением развития славянского Возрождения, общественного движения, во время которого завершилось формирование литературных языков западных и южных славян, стремившихся к культурному единству с Россией. Претворить ее в жизнь пытался чешский ученый И. Добровский. В 1813 г. в Праге вышел его «План всеобщего славянского этимологического словаря». В России с ним познакомился сразу же после его публикация.

По поручению А. С. Шишкова, подготовкой такого словаря занимались И. Я. Озерецковский и А. Х. Востоков. Они составили «Словарь или лексикон славянского языка с латинским и российскими» (к сожалению, этот словарь не был завершен). В этой работе принимал участие и выдающийся южно-славянский просветитель В. С. Караджич. Над составлением русско-чеш-

ской части славянского словаря работал Д. И. Языков, последний «неприменный секретарь» Российской академии.

Одновременно Российской академии работала над созданием ряда гневных словарей русского языка. В 1810–30-е гг. А. С. Шишков, Д. И. Языков, В. М. Перевощиков, С. А. Ширинский-Шихматов, А. С. Хвостов составили «Словопроизводный словарь русского языка». По объему вновь составляемый лексикон должен был превзойти «Словарь Академии Российской» (1789–1794). Источниками для него служили русские и славянские лексикографические издания, произведения русской литературы XVIII первой трети XIX вв., статьи на научных журналах, путевые записки путешественников. (Этот словарь авторами не был закончен.)

В эти годы были созданы «Российская грамматика» А. X. Востокова (СПб., 1831), «Общая риторика» (СПб., 1829), «Частная риторика» (СПб., 1832) Н. Ф. Кошанского. Эти книги неоднократно переиздавались и пользовались широкой популярностью. Большую роль в развитии отечественной лексикографии сыграл «Общий церковнославянско-русский словарь» П. И. Соколова (СПб., ч. 1–2, 1834).

Российская академия развила активную издательскую деятельность. Выпускалась целая серия периодических изданий, в которых печатались научные труды членов Академии и приглашенных авторов, переводы, научная критика, отчеты о деятельности Академии: «Сочинения и переводы, издаваемые Российской академией» (1805–1828); «Известия Российской академии» (12 книг, 1815–1823; 1828); «Повременные издания Российской академии» (4 части, 1829–1832); «Краткие записки Российской академии» (3 книги, 1834–1835); «Труды Российской академии» (5 частей, 1840–1841).

Оценивая деятельность Российской академии и ее значение в истории отечественного языкознания, следует сказать, что основатели Академии, последователи М. В. Ломоносова, его ученики, ученики его учеников — решали важные научные вопросы, имеющие просветительское значение для жизни России. Русские филологи много сделали для создания теории лексикографии, внесли вклад в формирование научной терминологии, в изучение грамматического строя русского языка, системы стилей.

Велико было и общественное значение Академии, которая принимала активное участие в жизни отечественной высшей школы, в устройстве университетов.

Но, несмотря на очевидные научные достижения, Российская академия за время деятельности А. С. Шишкова постепенно теряла авторитет среди ученых, писателей, любителей российской словесности. Академик М. И. Сухомлинов справедливо писал: «Шишков сделался полным властелином академии; его воззрения, его сочувствия, даже его литературные предрассудки находили верный отголосок в суждениях и приговорах Российской академии» (Сухомлинов М. И. Указ. соч. С. 368–372).

Если в первый период жизни Российской академии между писателями и филологами существовало взаимопонимание в вопросах о целях и зада-



дах научной деятельности, то при А. С. Шишкове творческое единство оказалось нарушенным, обнаружился резкий антагонизм между филологами и литераторами, особенно представителями «нового слога». Академия прославляла труды и сочинения таких малоталантливых авторов, как П. Г. Бутков, Б. М. Федоров, Д. И. Хвостов и др., в то время как многие выдающиеся писатели не были избраны в Академию или появились в ней с большим опозданием, и само их избрание уже не могло изменить положения дел. Не был избран в Академию М. Ю. Лермонтов; Н. М. Карамзин и В. А. Жуковский вошли в Академию только в 1818 г., А. С. Пушкин - в 1833 г., И. А. Вяземский - в 1839 г.

После смерти А. С. Шишкова Российская академия вошла в состав императорской Академии наук на правах особого отделения. С 1841 г. в Академии наук стало три отделения: I - Отделение естественных и математических наук; II - Отделение русского языка и словесности; III - Отделение истории и древностей.

Так закончилась деятельность Российской академии, существовавшей в течение пятидесяти восьми лет, и началась новая эпоха в развитии отечественного языкознания, науки о русском языке в русской литературе в составе единой Российской академии наук.

*Из записок филолога**Загадочная эпиграмма А. С. Пушкина*

Б. Э. Вацуро,

кандидат филологических наук

В числе лицейских эпиграмм А. С. Пушкина, этих проб сатирического пера будущего виртуозного мастера эпиграмматического жанра, мы находим одну, не поддающуюся сколько-нибудь убедительному толкованию. Она была напечатана Пушкиным в первом номере журнала «Российский музей» за 1815 год, под анаграммой «1... 14-16», что в переводе на буквенные обозначения читалось: «А... и-П», то есть «А (лександр) и (икшу) П». Такой подписью Пушкин пользовался в сентябре - октябре 1814 года (Цявловский М. А. Статья о Пушкине. М., 1962. С. 85-87). Текст ее гласит:

Арист нам обещал трагедию такую,  
 Что все от жалости в театре заревут,  
 Что слезы зрителей рекою потекут.  
 Мы ждали драму золотую.  
 И что же? дождались — и, нечего сказать,  
 Достоинству ее нельзя убавить весу,  
 Ну, право, удалась Аристу написать  
 Прежалкую пьесу

Смысл эпиграммы понятен; но конкретные обстоятельства, вызвавшие ее, от нас ускользают. Нельзя даже поручиться, что юный эпиграмматист имел в виду какое-то определенное лицо и определенный эпизод театральной жизни Петербурга 1814 года. Драма, вызывающая жалость не к герою, а к автору, — такой сатирический сюжет был весьма обычен. Позднее Пушкин скажет, что «переведенное остроословие — плоскость» (Пушкин. Полн. собр. соч.: В 16 т. М. — Л., 1949. Т. 12. С. 279), но в лицейские годы он сам отдавал дань широко распространенному обычаю переводить чужое остроумие, — и не без пользы для себя и для литературы: в изящных миниатюрных безделках оттачивался язык, появлялись афористические формулы, становились привычными лаконизм выражения и аттическая соль. Сам Вольтер, не имевший нужды в заемном остроумии, не гнушался переводить эпиграммы, не говоря уже о бесчисленных мастерах «антологического рода

поэзии», которыми была столь богата французская словесность XVII-XVIII веков.

Эту традицию нельзя сбрасывать со счетов, — и все же конкретный адрес здесь вероятнее: в противном случае вся эпиграмма и более всего «Арист» становились искусственными до беспомощности. Придумать фигуру поэта, обещавшего поразить зрителей небывалой трагедией, описать ожидание поверивших ему на слово и затем посмеяться над неудачей, — все это не стоило труда. Иное дело, если за всем этим стояла некая реальность.

Кажется, только М. А. Цявловский, написавший обширный комментарий к лицейской лирике Пушкина, попытался осторожно и предположительно назвать адресата пушкинской эпиграммы. Он исходил из того, что эпиграмма написана на трагедию, бывшую в 1814 году новинкой на петербургской сцене, и что лицеисту Пушкину, но-видимому, были известны какие-то театральные толки, предшествовавшие ее появлению в свет, — а может быть, был известен и сам автор. Поэтому он остановился на трагедии П. А. Корсакова «Амбоар и Оренгцеб, или Нашествие моголов», в пяти действиях, в стихах с хорами, поставленной впервые в Петербурге 24 апреля 1814 года. По свидетельству хрониста русского театра Пимена Арапова, трагедия эта не имела большого успеха (Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861. С. 220). Сейчас, располагая полным репертуаром театральных постановок, мы можем утверждать, что она прошла на петербургской сцене несколько месяцев: ее ставили 22 мая, 17 июля, 17 сентября и после этого не возобновляли (Ельницкая Т. М. Репертуарная сводка / История русского драматического театра. М., 1977. Т. 2. С. 453).

Пушкин мог обратить внимание на судьбу этой постановки хотя бы потому, что он знал — лично или заочно — автора трагедии. Петр Александрович Корсаков (1790—1844) был братом Николая Корсакова, лицеиста-одноклассника Пушкина; он служил в это время в театральной дирекции, был довольно плодовитым драматургом и переводчиком и поддерживал связи с лицеистами; несколько позднее он будет публиковать стихи Пушкина в своем журнале «Северный наблюдатель». Через много лет Пушкин с благодарностью вспоминал дружеские попечения Корсакова. Но в 1814 году он вполне мог написать эпиграмму на «Амбоара и Оренгцеба», — и М. А. Цявловский высказал такую гипотезу в именном указателе к отредактированному им первому тому так называемого «большого академического издания» Пушкина. Под именем «Корсаков П. А.» мы читаем: «Арист»; «Амбоар и Оренгцеб» — «трагедия такая, что все от жалости в театре заревут». Как мы говорили уже, исследователь был осторожен и против имени Корсакова поставил в скобках вопросительный знак, подчеркнув предположительность своей расшифровки (Пушкин. Указ. соч. Т. 1. С. 508). Оснований для сомнения у него было достаточно: о предьстории постановки нам ничего не известно, а, стало быть, не известно и то, в какой мере ей соответствовала ситуация, описанная в пушкинской эпиграмме.

Между тем если мы внимательно посмотрим уже упоминавшуюся репертуарную сводку Т. М. Ельницкой, мы сможем найти постановку, относящуюся тоже к 1814 году, история которой поразительно совпадает с тем, что написал Пушкин о «драме» «Ариста».

21 сентября 1814 года в Петербурге состоялась премьера трагедии В. В. Капниста «Антигона».

Это был дебют на трагической сцене уже стареющего маститого поэта, знаменитого автора «Ябеды». Трагедию его ждали; Капнист работал над ней давно. Еще в 1809 году он писал Н. И. Гнедичу, что «сделался из комедиант писателей плачевным трагиком» (Капнист В. В. Собр. соч.: В 2 т. М. - Л., 1960. Т. 2. С. 455; далее - только том и стр.). В 1812 году он посылал текст В. А. Озерову, Г. Р. Державину и А. С. Шишкову для прочтения и критики. Как реагировали двое последних, мы не знаем; Озеров же дал критический отзыв. Затем началась война, и театральные дела были отложены надолго, - по весной 1814 года стали говорить о готовящейся постановке. Знаменитая трагическая актриса Екатерина Семенова заинтересовалась ролью Антигоны и даже, как сообщал Капнист в майских письмах Гнедичу и жене, «выпросила» ее «в бенефис» (2, 486-487).

В Петербурге «ждали драму золотую» Ариста-Капниста.

«Все от жалости в театре заревут»... В 1804 году Капнист приветствовал восходящую звезду Озерова. Когда был поставлен «Эдип в Афинах», Капнист напечатал послание «Владиславу Александровичу Озерову», где были строки, почти повторенные в пушкинской эпиграмме:

Ты дал почувствовать отрадным слез потоком,  
Который из очей всех зрителей извлек,  
Что к сердцу близок нам несчастный человек...

Об этом послании Пушкин мог и не вспомнить, но он знал, что Капнист не чужд новым веяниям - эстетике «чувствительности». Трагедия Озерова была для него образцом. «... В трагедии моей, - писал он в предисловии, много почерпнуто из сочинений г-на Озерова; в сем явном похищении: отнюдь не извиняюсь, ибо принужден к тому был невольным наизусть утверждением прекрасных его стихов, которые неприметно втеснились между моих и сделали меня вором» (1, 147). Предисловия, впрочем, Пушкин знать не мог: оно не было напечатано, как и сама трагедия; в 1814 году ее можно было только увидеть и услышать.

Но, может быть, Пушкин даже и не видел трагедии, а откликался на печатные отзывы и театральные толки. Скорее всего, так оно и было: в Лицее шли занятия, и в сентябре - октябре приехать на спектакль в Петербург было практически невозможно.

«Антигона» была поставлена вторично 8 октября и сошла со сцены.

В 39 номере «Сына отечества» за 1814 год (24 сентября) появилась критическая рецензия.

Капнист был огорчен, но сумел победить авторское самолюбие и сам написал три автоэпиграммы на «Антигону» и даже напечатал их в следующем номере того же «Сына отечества». В одной из них он, по существу, говорил о провале постановки:

Хотя б никто не знал из целого партера,  
Кем в Антигоне ям  
Представлена в урок лирическим певцам  
Одна холодная, трагическа химера,  
То б общий и согласный свист  
Всем доказал, что то Капнист (1, 209)

Этот жест самоотвержения не спас поэта от безжалостных критиков. В следующем, уже 41 номере «Сына отечества» появилась за подписью «Н. Н.» эпиграмма на эти эпиграммы:

Арист, прежалкую скомпоновавши драму,  
С досады на нео в свет выдал эпиграмму  
Друзья! поплачьте вы об нем:  
Сам на себя, бедняжка, поднял руки.  
Пустое! это штуки!  
Он речется тупым ножом!

Легко заметить прямую связь ядовитого выпада «Н. Н.» с интересующей нас пушкинской эпиграммой. Анонимный сочинитель пользуется тем же прозрачным литературным именем «Арист», созвучным подлинной фамилией автора «Антигоны», и начинает свою эпиграмму формулой, которая включает пушкинский текст, образуя в ней эпиграмматическую «пуанту», острое, центр.

Мы вправе предположить, что юный поэт, с сатирическим складом ума, отправляется в своей эпиграмме на «Ариста» от текста неизвестного «Н. Н.». Сорок первый номер «Сына отечества» вышел 8 октября; номер «Российского музеума» с пушкинской эпиграммой был цензурован в конце декабря 1814 года. Этот журнал, в отличие от «Сына отечества», издавался в Москве, и если стихи Пушкина подоспели, скажем, к декабрю, стало быть, они были написаны не позднее ноября. К этому времени эпиграмма «Н. Н.» Пушкину должна была быть известна.

Это предположение кажется наиболее естественным и легким. — Однако оно сразу же вызывает целую цепь вопросов.

Прежде всего: если эпиграмма «Н. Н.» была источником пушкинской, то нужно признать, что к этому источнику Пушкин ничего не добавил, а лишь перефразировал его, и притом довольно беспомощно. Он сделал центром своей эпиграммы то, что «Н. Н.» сообщал мимоходом, как нечто общеизвестное — что «Арист» сочинил «прежалкую драму». Но этого мало: он вернулся к тому этапу всей этой театральной эпопеи, которая уже перестала быть актуальной и сменялась новыми эпизодами, привлекавшими внимание петербургских любителей театра: автоэпиграммами Капниста. На

них-то и реагировал неизвестный нам «Н.Н.» как на последнюю новинку театральной и литературной жизни.

В этих условиях парафраза Пушкина выглядела ко всему прочему и беспредежно запоздалой.

Все эти сомнения и затруднения, как нам кажется, разрешаются другой гипотезой, на первый взгляд, неожиданной.

Хронология публикации двух эпиграмм не совпала с хронологией написания. Первой была написана эпиграмма Пушкина — немедленный отклик на постановку «Антигоны». Эпиграмматист, скрывшийся под инициалами «Н.Н.», был вторым. Он знал эпиграмму Пушкина еще до печати и не перефразировал ее, а цитировал.

Он сообщал читателю, что «Аристе», написавши «прежаккую драму» (смотря об этом в эпиграмме, ходящей в рукописи — теперь пытается поправить свою пошатнувшуюся репутацию).

Такие «цепочки эпиграмм», продолжающих одна другую, были в ходу в лицейской среде. Когда поэтесса Е. Н. Пучкова напечатала в 1816 году в «Русском инвалиде» свое послание на смерть Державина «Деве ли робкой Арфой незвучной Славному барду Песнь погребальну — Деве ль брацать?» — лицейские поэты сделали ей целый венок эпиграмм. Начал, по-видимому, Пушкин:

Зачем кричишь ты, что ты *дева*  
На каждом девственном стихе?  
О, вижу я, певица Епа,  
Хлопочешь ты о жепихе.

Вторая эпиграмма — также пушкинская — касалась несколько неожиданно того для «девы» печатного органа, со страниц которого она обратилась к читателям:

Пучкова, право, не смешна:  
Пером содействует она  
Благотворительным газет недельных видам,  
Хоть в смех читателям, да в пользу инвалидам

(Пушкин. Указ. соч. Т. 1. С. 203, 297)

Далее в обсуждение «инотренещущей проблемы» включился «Одосирик» — Алексей Ильячевский, присяжный эпиграмматист первого выпуска:

Зачем об инвалидной доле  
Моя Пучкова так тужит?  
«Она сама в прелестном поле  
Ведь заслуженный инвалид».

(Грот Я. В. Пушкинский лицей (1811—1817). СПб., 1911. С. 154)

Здесь почти тот же тип связи текстов, какой мы видели в двух эпиграммах на «Аристе»: более поздняя опирается на более раннюю, отсылается от уже найденных формул, продолжая и развивая их. Если мы выч-

мательно перечтем лицейскую сатирическую продукцию, мы убедимся, что такая практика была обычной, и что случай с Пучковой — лишь один из примеров. Несколько эпиграмм было написано на С. А. Тучкова, в нескольких текстах предстает перед нами в сатирическом облачении лицейский преподаватель С. С. Фролов. Венцом этой эпиграмматической деятельности была целая сатирическая антология «Жертва Мому», составленная в 1814 году и посвященная Кюхельбекеру. Она сохранилась, переписанная пушкинской рукой; лучшие эпиграммы в ней принадлежали Пушкину и Илличевскому (Рукою Пушкина. М. — Л., 1935. С. 466—476).

Среди лицейских эпиграмм на Кюхельбекера мы находим одну, в которой мелькает строчка, читанная нами в эпиграмме неизвестного «Н. Н.»:

Клят бросился в реку. Поплачьте о поэте;  
 Не пережил он чад, давно утопших в Лете.

(Русская эпиграмма (XVIII — нач. XX в.). Л., 1988. С. 346).

«Поплачьте о поэте» и «Друзья, поплачьте вы об нем» — варианты единой мысли и единой формулы, едва ли не автореминисценция. Она лишний раз привязывает сочинителя эпиграммы на «Ариста» к лицейскому поэтическому кружку. И здесь имя Илличевского — первое, которое приходит нам на память. В 1814 году он уже вполне владел поэтической техникой и в особенности в малых жанрах; он упражнялся в эпиграммах — и не без успеха; он вступал в поэтическое соперничество с Пушкиным, принимал с ним вместе участие в эпиграмматических циклах, переписывал его стихи в составляемую им лицейскую антологию и даже иной раз — очень редко — редактировал его эпиграммы. Но здесь цепь наших гипотез должна оканчиваться признанием, что мы очень мало знаем о литературной жизни пушкинского времени. Нам неизвестны случаи выступления лицейста Илличевского в «Сыне отечества»; более того, эпиграмма «Н. Н.» на Ариста-Капниста не фигурирует ни в одном сборнике лицейских стихов. Конечно, Илличевский мог скрывать, что он — автор злой эпиграммы на уважаемого (в том числе и в Лицее) поэта, — но может быть, он в самом деле им не был, и самая история пушкинской эпиграммы на Ариста выглядит несколько иначе, чем представляется нам сейчас.

*Санкт-Петербург*

*Слово в драматургии*

*«Как вы все серо живете,  
как много говорите ненужного»*

*Речь персонажей в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»*

Э. С. Афанасьев.

кандидат филологических наук

Персонажи «Вишневого сада» Аня и Варя настоятельно советуют Гаеву «не говорить лишнего» и даже вообще молчать, и Гаев сознает их правоту, потому что его нетерпеливое желание сказать свое слово и тем заявить о себе миру почему-то всякий раз оборачивается конфузом.

Эпизод с Гаевым в концентрированной форме выражает одну из центральных ситуаций пьесы: слово, призванное служить общению, в устах ее персонажей по какой-то причине утрачивает эту способность, обесценивается, звучит фальшиво, и тщетны все потуги «говорить красиво» — чем они настойчивее, тем сильнее комический эффект.

Стиль речи персонажей «Вишневого сада» отчетливо сориентирован на стихию разговорной речи с ее внешней неупорядоченностью и логически смысловой нестройностью, и выбор драматургом такой речевой формы как художественного приема некоммуникабельностью персонажей пьесы не объяснить, хотя бы потому, что они очень говорливы. Беда их в том, что они не умеют общаться, не обладают культурой общения — важнейшим, по Чехову, признаком нравственной красоты человека, в известном смысле, самым ценным среди всех его талантов. Да, пьеса «Вишневый сад» и о том.



что человек не умеет общаться, потому что не вполне сознает всей значительности этой стороны своей жизни.

Действие пьесы складывается из различных фаз общения — от встречи до расставания. Каждая фаза общения — ситуация, на которую сфокусировано поведение персонажей, их высказывания.

Встреча хозяйки имения психологически мобилизует всех «не ударить в грязь лицом», предстать достойным «общества», в особенности «парижанки» Раневской. Критически осматривает себя, волнуясь перед встречей с ней, и Лопахин: «Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд... Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком...» (Чехов А. П. Поля. собр. соч.: В 30 т. М., 1978. Т. 13. С. 198; далее цитируется это издание).

Словесный жест Лопахина словно бы отсылает нас к традиции сокрушительных покаяний героев русской литературы, очищающихся от скверны самолюбования. Только вот что странно — Лопахин бичует себя и публично: «Мой папаша был мужик, идиот (...). В сущности, и я такой же болван и идиот». И делает это словно бы с охотой: «Ваш брат, вот Леонид Андреевич, говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. Пускай говорит». Что же заставляет его выставлять свои «душевные раны» на всеобщее обозрение? А что побуждает Трофимова без видимой необходимости заявить: «Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин». И Раневская начинает исповедываться в своей безалаберной жизни по собственной инициативе. И Гаев не оскорбляется, когда его уличают в аристрастии к пустословию: «Я неисправим, это очевидно...». Ениходов, Шарлотта, Пищик... Каждый из них не в меру и неуместно откровенен, и никому словно бы невдомек, что тем самым они переступают грань, заповедную для уважающего себя человека.

Да, как комические персонажи они простодушны, но их простодушие особого рода. Трофимов, явно бравлирующий своим положением человека «вне от мира сего» (черта, в известной мере свойственная всем персонажам пьесы), с апломбом заявляет: «Да, я облезлый барин и горжусь этим!» Это ли, говоря словами тургеневского Павла Петровича, не «сатанинская сордоссть», подстать высокому литературному герою?

Вот и Лопахин, только что аттестовавший себя «мужиком», не без значительности выговаривает самовлюбленной служанке: «Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить». И серьезно, и глубокомысленно. Только кто же среди персонажей пьесы «себя помнит»?

Слово комедийного персонажа двусмысленно, метафорично, не суверенно, по существу — фальшивая монета. И чтобы читатель (зритель) не запутался в невольной словесной игре персонажей, драматург иногда «обнавляет прием».

По общему мнению обитателей имения Раневской, Ениходов — совершенный нескладный человек, «двадцать два несчастья». Только сам он иного о

себе мнения: «Я знаю свою фортуна, каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, и к этому я давно уже привык, так что с улыбкой гляжу на свою судьбу».

Вот она, «диалектика» поведения - фарсовый персонаж претендует на роль трагического героя! А разве Лопехин и Трофимов не видят себя устроителями судеб человеческих, не пророчествуют? А Раневская, пекущаяся о близких и слугах (по крайней мере, на словах), блюститель «хорошего тона»? И даже юная Аня, которая ездила в Париж явно не на прогулку? Не играют ли они все не свойственные им роли?

Когда реальность собственной жизни обескураживает своей заурядностью, простодушный человек, отделяясь от собственного «я», выдумывает своего «двойника» как некое возвышенное существо и разыгрывает эту роль.

Так произошло психологическое раздвоение персонажей «Вишневого сада», повлекшее причудливую словесную игру в пьесе.

Слуги хозяев имени, не искусшенные в «диалектике» поведения, прямо заявляют о своих достоинствах, как например, 87-летний Фирс: «Я уйду спать, а без меня тут кто подаст, кто распорядится? Один на весь дом».

Другие подают себя более толко. «Поезд опоздал на два часа. Каково? Каковы порядки?» ворчит «взыскательный» Гаев. «Моя собака я орехи кушает», — заявляет о себе Шарлотта, надеясь, что способности ее «загадочной натуры» будут оценены по достоинству. Так оно и есть. «Вы подумайте!» — откликается Пищик, показывая, что и он не чужд «плодам просвещения».

Мать ведет себя, как девочка, ее дочь — как многоопытная женщина. «И зачем ты навязала мне Шарлотту», — пеняет она Варе и совсем «по-взрослому» рассказывает ей о своей поездке в Париж. Только раз у Ани прорывается («весело, по-детски», — замечает драматург): «А в Париже я на воздушном шаре летала!». И вновь «по-взрослому» о поведении матери: «Как я ее понимаю, если бы она знала!».

Все смешалось... Как тут не перепутать человека с книжным шкафом?

Поэтому и встреча Раневской не очень удалась. Фирс ворчит на Дунишу, Гаев отмахивается от забот Фирса и иолон чувства собственного достоинства по отношению к «хамам» — Лопехину и Яше. От деловой Варя нет житья. Все наслаждаются лицемерием Раневской, а Варя блюдет порядок: «Что ж, господа? Третий час, пора и честь знать», а своего «жениха» выпроваживает совсем уж грубо: «Да уходите же наконец!». Спектакль в спектакле.

Реплики Раневской тоже не всегда деликатны: «А Варя по-прежнему вся такая же, на монашку похожа»; «Что же, Петя? Отчего вы так подурвели? Отчего постарели? (...) Постарел и ты, Леонид». Но не в обиду, а по правилам «хорошего тона». Впрочем, и Раневской иногда говорят, правда, за глаза: «Мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась. Если б

ей волю, она бы все раздала», — говорит Варя, и тоже не со зла — надо же кому-то печься о хозяйстве.

Родной брат высказывается о ней сильнее: «...она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении» Сказано, конечно, ради красного словца.

Итак, поэзия общения разбавлена прозой обидных реплик, насмешек. «Как вы все серо живете, как много говорите невужного», — упрекает Раневская свое окружение. Празднословие и серость жизни идут рука об руку. Об этом говорит и Трофимов в своем монологе о «праздноболтающей» интеллигенции, который он оканчивает такими словами: «Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим!». Совпадение замечательное, и удивительного в этом нет: Трофимов «выскателен» потому, что видит себя в первых рядах человечества.

Много интересного и верного можно услышать из уст Раневской об обитателях ее имения. Например: «Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы вочаще на самих себя». И в самом деле, персонажи пьесы охотно всматриваются в «глубочайшие горизонты», в «яркие звезды», которые горят «там, вдали», очень зорки на смешное в других, но поразительно близоруки по отношению к самим себе, к своему человеческому достоинству, подменяя его каким-либо «выигрышным» стереотипом поведения. Чужие недостатки — благодатная почва для критики, но в осмеиваемых персонажах почему-то всегда отражается собственный облик мнимых ревнителей человеческого достоинства.

Трофимов беззлобно подтрунивает над неунывающим Пищиком: «Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю». «Перевернуть землю», конечно, гипербола, но в общем-то Трофимов прав. Вот только в своей собственной жизни он преуспел меньше незадачливого помещика.

Празднословие — патетическое или обличительное — стало образом жизни персонажей пьесы. Слово призвано ими скрыть простую, неприятную правду о самих себе. Слово льстит или оскорбляет, но во всей пьесе нет подлинно правдивых слов, исполненных искреннего уважения к человеку.

В устах персонажей «Вишневого сада» слово имитирует полноценные человеческие отношения.

Епиходов с Яшей распевают романс, и тут же следует уничтожающая реплика Шарлотты: «Ужасно поют эти люди... фуй! Как шакаль». «Какой вы умный, Петя!..» — восхищается Раневская. «Страсть!» — тотчас же откакивается Лопахин.

Появление Вари в третьем действии почему-то вызывает у Трофимова приступ своеобразного веселья: «Мадам Лопахина! Мадам Лопахина!..» — «Облезлый барин!» — звучит в отместку.

Разоткровенничалась Раневская, ища у Трофимова сочувствия, и выслушала в ответ поток обидных слов. Поругав Петю за его неукротивость, Ра-

невская восклицает: «Петя, погодите! Смешной человек, я пошутил!» — А способен ли кто-нибудь из них говорить всерьез?

Все они как-то странно похожи друг на друга. Речь, конечно, не о внешнем сходстве и не о характерах, которые драматург представляет в одной — двух репликах персонажей. Вразрез с настроением первых минут встречи Раневской звучит реплика Вари, обнаруживающая прозаизм ее манеры: «Как холодно, у меня руки заоченели».

Однако тщетно искать в характерах персонажей «Вишневого сада» глубины душевных движений даже в самые, казалось бы, драматические моменты. В последнем действии, перед тем, как покинуть родной дом, Раневская пытается выразить то, что должно соответствовать ситуации. И что же происходит в ее душе? «Прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдет зима, настанет весна, а там тебя уже не будет, тебя сломают. Сколько видела эти стены!». Стены — да. Но почему — стены? И далее: «Точно раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены, какие потолки, и теперь я гляжу на них с жадностью, с такой нежной любовью...» Опять стены да еще потолки... Не сродни ли речь Раневской обращенному к книжному шкафу монологу Гаева, за который он был осмеян?

Кстати, и Гаев пытается вспомнить что-нибудь значительное, подходящее к случаю из жизни в родном доме: «Помню, когда мне было шесть лет, в Троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь...» Только и всего.

Похожесть персонажей пьесы — в общности их мироощущения, в ощущении внутренней потерянности людей, заигравшихся в избранных ими ролях, обезличивших самих комедиантов. Они похожи друг на друга своей одинаковой обреченностью, им уготована страдательная роль в жизни, которая властно распоряжается их судьбами.

«Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать. Такая досада!» — слово бы протестует Лопахин. И Епиходов сознает себя пленником обстоятельств: «...судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю». «Вы ничего не делаете, — мягко упрекает Раневская Трофимова, — только судьба бросает вас с места на место, так это странно...» И сам гордый Трофимов как бы между прочим признает: «...куда только судьба не гоняла меня (...).»

Словно в библейском мифе, персонажи «Вишневого сада» наказаны «смещением языков» за легкомысленное нежелание, говоря словами Трофимова, «хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза».

«Какой правде? — резонно спрашивает Раневская. — Вы видите, где правда и где неправда, а я точно потеряла зрение, ничего не вижу». Раневская искреннее Трофимова, ей есть что терять. Трофимов же волен воображать себя ясновидцем.

Епиходов, вычурно философствуя, сказал то, о чем знают все: «...никак не могу понять направления, чего мне собственно хочется, жить мне ведь застрелиться, собственно говоря (...).» «Ты, Епиходов, очень умный человек...

век», ядовито замечает Шарлотта и вдруг произносит - о себе и для себя: «... и кто я, зачем я, неизвестно».

Взаимопонимание предполагает общность подлинно человеческих отношений и интересов: персонажи пьесы - люди слабой воли, иллюзорных «идей», желаний. Формальная коммуникабельность - одно из средств создания комического эффекта. «Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь?» - интересуется Раневская. - «Куда прикажете, туда и пойду», - отвечает Фирс. «Согласны вы отдать землю под дачи или нет?» - кричит Лопухин. - Ответьте одно слово: да или нет? Только одно слово!». А ему на это Любовь Андреевна: «Кто это здесь курит отвратительные сигары...»

Круговерть жизни несет незадачливых обитателей имения Раневской в неизвестность, людей, не имеющих ни дома, ни семьи, ни дела для души.

«Так вы, пожалуйста, найдите мне место. Я не могу так», - обращается Шарлотта к Лопухину. Все ищут себе место. *Место* - Не означает ли это слово - на полноценном языке драматурга место в жизни, человеческое достоинство?

Ярославль



Эссеистика В. Н. Ильина,

ИЛИ

Вопросительный знак

как спутник жизни и творчества

В XX столетии посмертные судьбы русских мыслителей и их сочинений не менее трудны, нежели их многострадальные скитальческие жизни. Это касается и Владимира Николаевича Ильина, одного из послереволюционных изгнанных. До сих пор его почти не знают на родине. Философские и публицистические труды — почти не издаются. Некоторые «знатоки» уже успели перепутать его с другим Ильиным — философом, неисторичным Иваном Александровичем. Но этот эпизод — из разряда современных досадных нелепостей. А вот еще один — его творцом стал человек просвещенный, ученый; посему происшедшее вдвойне прискорбно. Недавно, в 1990 году, в серии «Пушкинская библиотека», выпускаемой издательством «Книга», вышел объемистый том: «Пушкин в русской философской критике (концы XIX — первая половина XX вв.)», подготовленный Р. А. Гальцевой. Такая книга давно назрела и крайне важна для пушкиноведения, как, впрочем, и для культурной общественности в целом. Первый фундаментальный опыт оправдал ожидания: он был безгрешен, хотя иные недостатки солидного в основе своей издания вполне извинительны (за силу новизны предмета исследований). Нашлось в сборнике место и В. Н. Ильину, «философу, агрографу, музыковеду», родившемуся в 1894 году. И тут неожиданность, в библиографической справке, посвященной мыслителю, нет даты его кончины. Вместо нее — на стр. 486 многозначительный вопросительный

знак — знак, весьма точно определяющий меру нашего знания о соответствующем...

Уместно вспомнить, что написал об Ильине в протоиерей Василий Зеньковский в знаменитой «Истории Русской философии»: «В своем изложении я касался лишь тех мыслителей, философское творчество коих либо ценно само по себе, либо важно по тому значению, какое оно имело в развитии русской мысли. Но вне моего изложения неизбежно осталось еще немало мыслителей, которые либо отошли в сторону от философии, уйдя в другие работы, стоящие вне философии, либо по разным обстоятельствам не успели, или не смогли договорить до конца их философские идеи, указания и намеки на которые находятся в их книгах или этюдах». И далее непосредственно об Ильине, который издал «несколько работ, касающихся проблем философской систематики, но все это тембга *disjecta* (разбросанные члены)» (Прот. В. В. Зеньковский, История Русской философии, 2-е изд. Париж, 1989, Том II, С. 458, 460-461). Добавим, что в другой, не менее известной книге протоиерея Георгия Флоровского «Пути русского богословия» (4-е изд. Париж, 1988) имя Ильина встречается лишь однажды, да и то в примечаниях.

Итак, философ далеко не первого ряда, мыслитель, занимающий маргинальное положение в иерархии в истории русской мысли? Но давайте не будем торопиться с приговором: ведь мы еще практически не знаем Ильина, не издали его трудов, даже важнейших. История учит (а мы никак не уразумеем), что слишком многое в былых оценках зависело от угла зрения, от пристрастий, подчас увы личных или политических. Так, к примеру, некоторых эмигрантов в свое время покорила близость В. И. Ильина к «евразийским кругам». Другая шокировала резкость его суждений (наиболее ярко это, пожалуй, проявилось в посмертно изданном философском памфлете «Религия революции и гибель культуры», Париж, 1987). Третьи считали, что профессор духовной музыки в Русской Музыкальной Академии в Париже недостаточно «философичен». Вряд ли приведенные мнения имеют отношение собственно к философии. Поэтому повторим: объективный анализ творческого наследия Ильина, его «вопросительных знаков» — впереди. Однако уже сегодня правомочно сделать вывод — предварительный, но важный — в Россию возвращается своими трудами не плодотворный комбинатор чужих идей, а самообытный мыслитель, изрекший некогда (совсем недавно) собственное слово — и да будет оно нами внятно расслышано и побыстрее понято.

Был Ильин и оригинальным литературоведом. Но не оригинальничал, хотя и здесь сочинения его неоднозначны, неравноценны и спорны. Об этом свидетельствуют и названия трудов — перечислим хотя бы некоторые: «Адекий холод Гоголя»; «Андрей Белый и псевдо-научная легенда о связи семьи и помешательства»; «Аполлон Григорьев — страждущий русский Дионис»; «Демонология и юмор Достоевского» и т. д. Особое место в гут уж мыслитель не слишком выделялся среди прочих илльинников — отводилось Пушкину. Все началось, кажется, с его речи «Аполлон и Дионис в творче-

стве Пушкина», прочитанной в дни всемирного пушкинского юбилея 1937 года в Богословском Институте в Париже (другими ораторами тогда были о. Сергей Булгаков и А. В. Карташев; ныне эта речь, многократно издававшаяся в Русском Зарубежье, помещена в упомянутом сборнике «Пушкин в русской философской критике»).

После окончания второй мировой войны обращение Ильина к Пушкину становится регулярным. В 1949 году появляется его работа «Трагедия дружбы и судьба Сальери». В книге «Арфа царя Давида в русской поэзии» (1960) заголовок одной из центральных глав говорит сам за себя: «Великий Пушкин». Спустя еще два года на суд читателей выносятся «Тайновидение у Пушкина и Лермонтова». И, наконец, наступает 1968 год – своеобразная эмигрантская «болдинская осень» мыслителя. В парижском журнале «Возрождение» (редактор И. И. Тхоржевский) одна за другой печатаются шесть крупных работ В. Н. Ильина: «Пушкин и его судьба (К исполнившемуся 130-летию со дня смерти Пушкина)»; «Арап Петра Великого»; «Митрофанушка Простаков, Петруша Гринев, Ильяша Обломов и Русская Империя»; «Чудак печальный и опасный»; «Патриотизм Пушкина. Диалоги о любви к Отечеству и народной гордости в отрывке „Рославлен“»; и, сверх того, «Мудрость скуки и раскаяния (О последней тайне земной судьбы Пушкина)». Этот цикл, донныне не оцененный по достоинству и попросту неизвестный в нашей стране, выдвинул автора в число наиболее крупных – хотя опять-таки небесспорных – русских зарубежных пушкинистов.

Перед читателем – последняя из статей цикла. Последняя по времени выхода в свет, но отнюдь не по значимости. Наша публика – и обмирщенная до предела ученая корпорация, и представители «народного пушкиноведения» – еще не привыкли к такому уровню познания духовного мира поэта. До недавнего времени робко-конспиративные попытки некоторых пушкинистов «сердцем взлетать во области заочны» сурово карались, и не только ортодоксальным советским пушкиноведением. Причищенный тем самым вред учету не поддается. Немало, видимо, придется приложить усилий, дабы исправить бедственное положение. Обретение нами лучших образцов русской зарубежной пушкинианы может сыграть в этом деле особую роль.

Вот, похоже, и все, что хотелось сказать, предваряя публикацию интереснейшей статьи. Или – почти все. Остается только один «вопросительный крючок», воспетый когда-то Пушкиным. Скончался русский философ Владимир Николаевич Ильин на чужбине в 1974 году, в год очередного юбилея нашего национального поэта.



## Мудрость скуки и раскаяния

(О последней тайне земной судьбы Пушкина)

Мне скучно, бес,  
Что делать, Фауст.

А Пушкин

Познай мой жребий злобный:  
Я осужден на смерть  
И позван в суд загробный.

А. Пушкин

Нет ничего безвкуснее и бездарнее «красивых слов» вокруг творчества великих людей. Поистине «жалостная пьеса»! Иногда кажется, что гений, пройдя «дикую долину» горестного земного пути, осушив чашу предсмертных борений и войдя в вечность тесными вратами смерти, вкушает последнее посмертное унижение, подобное тем осквернениям, которым подвергаются от рук кощунников раки святых. Едва только отзвучали «надгробные лики», как священное молчание, окружающее тайну творчества, грубо нарушается бесчисленными толпами разного рода амфитрионов<sup>1</sup>, паразитирующих на славе гения и прижившихся при нем наподобие «карамазовского черта». И эти паразиты-приживалы – враги не только «небес избранника», но и самих небес. Стоит только явиться подлинному гению, чтобы сванцица «Вия» сейчас же принялась преследовать его, мучить и всячески злораждать. Еще бы! Творчество гения можно в известном смысле уподобить странной мистерии отчитывания мертвой ведьмы святыми словами и на святом месте. В ответ на «звук сладкие молитвы», для которых и рожден сванец, мертвая ведьма встает из гроба, творит свои кощунственные проклятия, вызывая из тьмы бесовское сонмище, набрасывающееся на неваца. «Огонь среди ночи опасен для тех... кто зажег»!

Добившись своего и замучив гения, бесовская толпа (всякая толпа человеческая) принимается торжественно поминать и чествовать замученного, и начинается ужасающая процедура красиво жалких слов, благо всегда найдутся гладкоговорители-болтуны. Они собой довольны и их обожатели тоже довольны. А великий покойник молчит, благо покойнику полагается молчать: за него «красиво» и «умно» пускает слова площадной говорун... Пока «Рим» стоит – «Петр Иванович Бобчинский» во что бы то ни стало хочет принять участие в его сожжении. Но спустя некоторое время после этого аутодафе, Бобчинские устраивают поминки *или* сожженному граду и

вдохновенно громят нравы сожигателей. От всего этого хочется сбегать на край света... Тщетное желание:

..Свет  
Уж праздного вертепа не являет  
И на земле уединенья больше нет. <sup>2</sup>

Во времена, когда Баратынский, блестящий современник Пушкина, писал строки своего «Последнего поэта», исчезали еще сохранившиеся скудные остатки того, что древние благородные, по сей день непонятные эпикурейцы называли «потаенной жизнью». Лучше всего об этом в наше время выразился В. Ходасевич:

Глаз отдыхает, слух не слышит,  
*Жизнь потаенно хороша*  
И небом невозбранно дышит  
Почти свободная душа. <sup>3</sup>

Даже в ранней молодости Пушкин, человек знойного темперамента и неукротимых, самых разнообразных, подчас темных страстей, — ненавидел толпу, был влюблен в уединение... Вообще можно смело мерять достоинство и одаренность человека степенью его любви к уединению и отвращением к толпе. Так начинается Пушкин и литературный портрет своей Тани, одного из величайших сокровищ духа русской поэзии.

Внешнее выражение этого влечения к отшельничеству принимало у Пушкина в юности весьма изощренную форму «дандизма», порой переходившую в брезгливый элитный аристократический снобизм. Однако, уже и тогда скучающая брезгливость поэта обещает иные, неожиданные откровения.

Блажен, кто в отдаленной сени  
Вдали взыскательных невежд  
Дни делит меж трудов и лежи.  
Воспоминаний и надежд.  
Кому судьба друзей послала,  
Кто скрыт по милости Творца  
От усыпителя глупца,  
От пробудителя нахала.

Шли годы, душа поэта созревала, в ней накаплился богатый трагический опыт

Ума холодных наблюдений  
И сердца горестных замет

и то, что можно было принять за «лень» гениального сибаритствующего «олимпийца», например, в духе зрелого Гете, олимпийца, наслаждающегося «горацевым досугом» с его «сладостной пользой», — все это сказывалось потом как священное стремление к совершенному надземному покою, в не-

ликой духовной тишине, к «отложению житейского попечения», которому предшествует очистительное покаяние, полная перемена духовных установок, духовное «иночество» и просветление, спасительный стыд о содеянном, о недостойных кумирах.

Мне стыдно идилов моих!  
К чему несчастный я стремился,  
Пред кем унизил гордый ум,  
Кого восторгом чистых дум  
Боготворить не устыдился?

Ворения сменяются падениями и этот мучительный, истинно человеческий дуализм греха и покаяния, страсти и святости, демонизма и ангелизма делается основным содержанием земной жизни Пушкина. Остается удивляться тому, как этого не заметил Константин Леонтьев, столь родственная Пушкину натура, — как он мог видеть в Пушкине только упоенного жизнью гениального язычника, какого видят в Гете большинство его поклонников...?

Есть у поэта необыкновенно мелодичный и грустный отрывок, где «неисправимость» артиста передана с какой-то скользкой грацией.

Уж мало ль бился я как ястреб молодой  
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой,  
А несправленный стократною обидой  
Я к новым идолам несу свои мольбы.

Но жалобы на свою слабость переходят в громовое напоминание о грехе и вечной гибели, — статуя командора — неизбежный, роковой двойник Дон-Жуана, темная тень его страстей, подобно Мефистофелю, всюду сопровождающему Фауста.

Напрасно я бегу к сионским высотам,  
Грех алчный гонится за мною по пятам.  
Гак, ревом яростным пустыню оглашая,  
Взметая лапой пыль и гриву потрясая,  
И ноздри пыльные уткнув в песок зыбучий,  
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Среди этих воистину псаломно-восточных напевов звучит голос безвыходности и отчаяния:

Нотуца голову, в тоске ломая руки,  
Я в воплях изливал души пронзенной муки  
И горько повторял, метаясь как больной:  
Что делать буду я, что станется со мной?

Душа усыпляется сну — тяжелый, злой сон!.. И пробуждается нахалом-наглецом — еще более тяжкое, злое пробуждение!

В чем же тайна «злого сна» и «злого пробуждения», так мучительно чередующихся в том, что Тютчев назвал «злой жизнью»? Быть может,

здесь нечто двуликое, какая-то темная сила о двух масках — и сама вовсе без лица. — тем более ведь, что глупость и наглость соотносительны и одна без другой не живут... Неоправданная претензия («наглость», «нахальство») неминуемо проявляет себя как глупость, глупость же, в свою очередь, может проявить себя только через неоправданную претензию, через, так сказать, «чек без покрытия», через наглость...

Конечно, Пушкину порядком досаждали разные Тимковские, Булгарины, Бенкендорфы, Бируковы, Красовские, Хвостовы, Белинские и проч. — одни своими нелепыми придирками и критиканством, другие — неблагозвучием своих плохих стихов, откровенной, самовлюбленно-властной глупостью тех, кто «чином от ума избавлен»...

Вообще, так называемая публика, в сущности, очень скоро отвернулась от Пушкина и подчинилась критической команде Белинских и К°, их в корне некомпетентным, глубоко некультурным отзывам и оценкам... Ибо пословица «каков поп, таков и приход» может быть обращена с полным сохранением своей силы: «каков приход, таков и поп»... «Попы» Белинские только повторяли заезженные, общие места. Можно сказать, что когда Пушкин окончательно созрел и встал во весь свой рост, копошившаяся возле ног великана жалкая тля совершенно естественно перестала его и замечать, и понимать...

Поэт, не дорожи любовью народной,  
Восторженных похвал пройдет минутный шум,  
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,  
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Не надо преуменьшать страданий Пушкина от его разрыва с толпой, улицей, массой, — словом, с тем, что именуется «чернью», подчас и «народом». Ибо за этим разрывом таился тягостный и тоскливый призрачный заброшенности, оставленности. Кстати сказать, на эту тему много интересного и глубокого сказал Н. А. Бердяев в своей острой книге «Я и мир объектов»<sup>5</sup>. Мы уже и не говорим о том, что каждый каким-то углом или частью своего «я», пусть и второстепенной, даже третьестепенной, все же приваде лежит «черни», «толпе», «народу», во всяком случае и первой поре своей жизни. Есть тайна, даже таинство общественно-соборной жизни... Человек в качестве существа соборного погружен в это таинство. И отлучение от него, или, даже, самоотлучение может быть причиной жесточайших страданий, не меньших, чем страдания от неразделенной эротической любви, которая всецело входит в полноту этого общения, и, следовательно, общества. Можно как угодно — и по заслугам — клеймить общество, народ, массу, толпу, улицу, чернь — как угодно называйте это недостойное существо, — и все же писатель и артист, самый большой и независимый, самый оригинальный, ни в чем и никак не похожий на человека улицы, толпы, будет стонать от разрыва с нею так же тяжело, как и от разрыва с правящей ему и любимой женщиной, хотя бы и в высшей степени недостойной... Всякий (или всякая) хорош в незаменим у же тем, что он (или она)

не я, и, следовательно, приносит мне нечто, чего я не имею и иметь никак не могу, в чем бы этот недостаток или это лишение (греч. «стерезис») ни состояли. А состоит этот «стерезис» часто, почти всегда, в чем-то очень важном, пусть и неучитываемом, неименуемом...

Здесь один из главных источников пушкинской желчи и пушкинского гнева, до крайности умноженных необычайной чувствительностью и тайно-видящим умом поэта, что и привело его в конце концов к барьеру...

Но с этим связано нечто другое, в высшей степени серьезное, вполне как сказать «божественное», хотя сплошь и рядом недостойно профанируемое. Речь идет о так называемой славе и ее «сладких мучениях» (выражение самого Пушкина), способных при малейшем предлоге превращаться в адскую горечь ревности, особенно, если вспоминать по этому поводу желчные диатрибы Шиллера, Шопенгауэра или Шекспира.

Я видел, как венцы святые славы  
Позорились на пошлых головах.

Или зрелище:

Глушцов, гордящихся лавровыми венками,  
Опальных мудрецов, носящих скорбь в тиши.  
Высокий дар небес, осмеянный слепцами,  
И силу мертвую от немощей души.

Уже с самых ранних лет Пушкиным был поставлен вопрос об отношении к славе — то есть к моменту человеческого общественного «ответа» на божественный дар.

Быть славным хорошо, спокойным лучше вдвое.

Это — в исполненном желчи и яду, какой-то грозной и седой мудрости, хотя и написанном почти отроком стихотворении «К другу стихотворцу». Как может говорить только тот, кто чарам своего гения закликает покой, обо предчувствует, что сладостная тишина — не его удел...

К словам Пушкина об «усыпителе глупце» и о «пробудителе нахале» мы находим поразительную параллель у Гоголя, терзавшегося от зрелища «позорной лени» и «безумной деятельности»... Словом — деться некуда.

Нет сомнения: глупость и наглость — обе маски подозрительной темной силы — явно имеют характер общественной символики метафизического зла. Пушкин отрекается от него — и приобретает себе заклятых врагов как со стороны глушцов, так и со стороны наглецов. Сколько злости и достоинства в парировании соблазнов, исходящих от «безумной деятельности» во имя до конца разоблаченной «общественности»... Отсюда и его презрение к пресловутым принципам 1789 года во всех смыслах и по-разному скомпрометированных в дальнейшем течении новой истории — особенно в истории революции с ее набором общих мест и всех видов коллективизма. Здесь Пушкин в свои зрелые годы, несомненно, делается предтечей и вдохно

вителим как Достоевского, так и Константина Леонтьева — и это несмотря на их отчужденность друг от друга.

Педорого ценю я громкие права,  
От коих не одна кружится голова.  
Я не скорблю, что отказали боги  
Мне в сладкой участи оспаривать налоги  
Или мешать царям друг с другом воевать  
И мало горя мне, свободно ли печать  
Морочит олухов иль чуткая цензура  
В журнальных замыслах стесняет балагура.  
Все это, видите ль, слова, слова, слова

Пушкин, начитавшись статей Белинского и ему подобных, имел полное право говорить об «олухах» и «балагурах» — так же как впоследствии Тютчев (по такого же рода поводу) об «утином и гусином толке»: их обоих оправдывало Евангелие своими грозными словами о «псах» и «свинях», перед которыми нельзя метать бисера, ибо они попрут его ногами и, обратившись, растеразуют брошившего<sup>6</sup>. Соборность не только не исключает эзотеризма, но даже в известном смысле *предполагает* его. Это целая и совершенно самостоятельная тема, требующая специальной разработки. Ибо иногда «всенародность», «публичность» (ужасное слово!) лобзания или принижения есть уже профанирующее нарушение мистерияльного молчания и, хотя бы невольная, но все же причастность иудину делу: ведь недаром поставлены Церковью рядом *лобзание предателя* и *нарушенный, профанируемый эзотеризм* («не бо врагом Твоим тайну новем, ни лобзание Ти дам яко Иуда»).

Толпа, *внешние* — всегда враги и осквернители, профанаторы мистерии. И здесь физиологическая расово-родовая близость, «народность», родство могут только усугубить эту внешнюю, эзотерическую враждебность: «не бывает пророк без чести, разве в отечестве своем и в роде своем»<sup>7</sup> и «враги человеку домашние его»...<sup>8</sup>

Гений как существо чисто духовное борется с родовым началом, которое есть прежде всего плоть, и поэтому борется прежде всего со своим народом, который его и предает (или же приспособляет к своему уровню, что хуже всякого предательства). Здесь опять и опять приходится напоминать о судьбе мыслителей и пророков и в особенной степени об отравлении Сократа и распятии Христа.

Теперь мы подходим к одному важнейшему, вполне *экзистенциальному* открытию Пушкина, за которое он заплатил самыми жестокими терзаниями — терзаниями скуки, настоящей адской скуки.

Профанированная, вынесенная на улицу подлинная мистерия обращается дурной, серой лжеистерией толпы и для толпы, для всех, для «общественности» с господством общих штампов и общих мест и со способностью все что угодно превратить в затасканное общее место и в предмет дурных эмоций, всевозможного рода «психологизмов», исключающих всякую духовность, всякую пневматику.

Толпа есть ложный собор, могущий ежесекундно превратиться в сонное «Вия», в «легион бесов»; в этом сонмище «усыпитель глупец» не просто надоедливый тупица, рассуждатель-рационалист или какой-нибудь «существенный» Манилов — он делается уже символом вечной скуки безнадоежкого и бесконечного томления на «жизненном пиру»... Скука эта, ее тяжелое томление идут оттуда, где «сцена окутана мраком» (по выражению «Джарра По в «Черве Победителя»); оттуда же надвигается и «пробудитель наглец» — не просто наглец и лгунишка Поздрав со своим шумным вздором и «историями» (увы, настоящими историями, записанными в учебниках). Эти «истории» мешают гению-творцу сосредоточиться, они несут с собою жестокое и злое насилие «червя победителя», наполняющего своим безобразным гамом священное молчание пустыни, «любимой другими», подруги истинного поэта, они разрушают тихую келью труженников мысли.

Мефистофель не любит уединения и всячески его нарушает — то в облике «вождя масс», сжигая без всякой нужды тихое убежище Филемона и Бавкиды (Афанасия Ивановича и Пульхерии Иваковны тож) с их скромным сельским храмом, то надев монашескую мантию начальствующего игумена, запрещает св. Иоанну Дамаскину заниматься композицией и богословствовать (под предлогом, видите ли, смирения, а в действительности насыщая свою вопстине дьявольскую гордыню расправой с гением, которому он смертельно завидует); он же в качестве интеллигента-рационалиста и народолюбца обличает будто бы «гордыню» ушедших в затвор старцев. Или же, забравшись в глупую башку и злое сердце какого-нибудь «святодуха» Ферапонта, начинает обличать или старца Зосиму (уже умершего) или художника, его живописующего, например, Достоевского. Мефистофель не прочь принять на себя и вид мыслителя — «влезает на кафедру и надевает очки». Через ложно анатомическое разъятие того, что разъятию не подлежит, и анатомирование того, что анатомировать не только кощунственно, но и фактически невозможно, Мефистофель губит бытие, клеветца на него, будто оно состоит из безнадежно похожих друг на друга, друг другу тождественных атомов без внутреннего состояния... Несказанную гайну Эроса цинично выносит он из лона «ночи благодатной» на «свет ясного сознания», чтобы показать, что праздник бытия есть просто его скучные будни, через пошлое размышление и «рассуждальчество»:

А доказали мы с тобой,  
Что размышленье — скуки семя.

Нет такого места в доступных человеку сферах бытия (в принципиально «сыду», как образу Божию, все доступно), куда бы не прокрадась эта скука анатомирующего лжеразмышления с его дурной бесконечностью «законов мышления» и среди них — закона «достаточного основания», «причинной взаимосвязи» и «непрерывности» отвергающего прерывность творчества, прерывные функции, которые по гениальной интуиции о. Павла Флоренского — от Духа Святого.

В этом отношении, гениальнейшая «Сцена из Фауста» Пушкина раскрывает нераскрытое или недостаточно раскрытое у Гете и притом основное свойство злого духа — его *посюсторонность* или, как принято говорить, его «*иккманентность*». Открытие это, собственно, сделано Пушкиным и дает в руки один из важнейших ключей для обличения ложной небытийственной природы самоутверждающейся *труппной* посюсторонности, которая и есть предельное зло.

Пушкин открыл, что несмотря на свое потустороннее происхождение злой дух всецело и с удобством устроился по эту сторону, и что основное свойство, основное качество зла — скука безысходной дурной бесконечности, вечной смерти, вечного разложения, вечного гниения, царящих в так называемой «реальной жизни». Без конца и непрерывно будет тянуться одна и та же канитель:

И устарела старина,  
И старым бредит новизна

— вот основная жалоба Пушкина на эмпирическое бытие. И это есть мудрое слово об аде, о холодно-слякотном огне скуки. Здесь Пушкин совершенно параллелен Гоголю и лишь форма и приемы проведения и разработки тем видоизменяют ту же сущность до неузнаваемости. Поэт-теург чувствует свою великую вину: он сам приобщился скуке мира и недостойно носит печать избранного гения.

И среди детей ничтожных мира  
Быть может всех ничтожней он.

О душе его можно сказать словами А. С. Хомякова:

О, недостойная избрания,  
Ты избрана...

«Любимец Аполлона» недостойный носитель божественного огня, которому он причастен «в суд и во осуждение». О себе же в этом смысле говорит и св. ап. Павел: «я меньший из апостолов и недостойн называться апостолом» — и, однако, в сознании своего избрничества добавляет со своеобразным чувством собственного достоинства: «но милостью Божией и есмь то, что есмь»... Выход один: надо каяться — время не терпит, надо искать

Спасенья узкий путь и тесные врата.<sup>16</sup>

В. В. Розанов был прав, считая, что со времени создания псалма 50 «Помилуй мя, Боже» мир не знал выражения покаянного чувства более потрясающей, громовой силы, чем стихотворение Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день...».<sup>17</sup>



..В уме, подавленном тоской,  
Теснится тяжких дум избыток,  
Воспоминанье безмолвно предо мною  
Свой длинный развивает свиток;  
И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалеюся, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю

Это же величавое стихотворение избрал Чехов для самой важной главы своей «Дуэли» — для изображения трагической силы покаянного порыва, после которого от ветхого человека, казалось бы, обреченного на слом ничтожества и дряхля, — ничего не остается и на опустелом месте начинает прорастать душа праведника, далеко оставляющая за собою «порядочного человека», судившего эту душу и обрекшего ее на смерть и уничтожение — путем револьверного выстрела на дуэли. Автору этих строк признавались, что глубинное проникновение в это стихотворение и даже само его чтение было стимулировано чтением «Дуэли» Чехова, где строфы «Когда для смертного умолкнет шумный день...» составляют лейтмотив и краеугольный камень...

Великий и подлинный христианин Пушкин познал во всей его многоценной полноте «сокровище смиренных» — покаянные слезы и понял ничтожество мира, «лежащего во зле». Собственно говоря, если писать внутреннюю биографию нашего великого поэта, пророка и страстотерпца, то можно сразу же узреть и почувствовать, что написание подобного рода шедевра его по-настоящему *обязало* и что с этого самого мгновения творец покаянной песни нашего времени и второй Давид внутренне уже стал *иноком*... Ветхий человек мог сколько угодно еще бушевать в нем, но судьба его была решена... Безумные забавы и, тем более, преступления этого мира (так часто связанные между собою) оставляют после себя тяжелую духовную чуждость и явно попускаются Богом ради великих духовных сокровищ, стяжаемых покаянием, которых быть может не было бы, не будь падений...

Безумных лет угасшее веселье  
Мне тяжело как смутное похмелье.

В этом мире дурной бесконечности и скуки смертной и адской продолженные далее эти забавы превращаются в невыносимое мучительство однообразной «феноменологии греха» и тягостную нить глупо друг на друга похожих «дней нашей жизни».

Ужасно видеть пред собою  
Одних обедов длинный ряд,  
Смотреть на жизнь как на обряд  
И за толпой плестися чинно,  
Не разделяя с ней  
Ни общих мнений, ни страстей.

В этом мире, где время затягивается и душит змеей дурной бесконечности и где бедные (во всех смыслах бедные) Ленские ожидают чудес и дожидаются лишь в лучшем случае рогов от лукавой невесты или супруги, а в худшем – пули из дула «приятеля», происходит лишь топтанье на месте и «чем более это меняется, тем более остается тем же самым» (по французской пословице). Да, конечно, смешно и дико здесь говорить о каком-то прогрессе, ибо

Там скука, там обман и бред,  
В том совести, в том смысла нет,  
На всех различные вериги,  
И устарела старина,  
И старым бредит новизна.

Зло мира, злой дух смрадный и мерзкий, дух уродства, глупости и бездарности – просто трупная, тяжелая бессмыслица, ерунда, достойная вместе с преданной этой ерунде толпой только «слез и смеха»... Забыть это надо, забыть как можно глубже и радикальнее – и раскаявшийся в скучных соблазнах мира, где не встретишь «и глупости смешной», в мирской степи печальной и безбрежной, где «таинственно пробились три ключа», поэт – мудрец, пророк и учитель – решительно выбирает «третий ключ».

Холодный ключ забвенья,  
Он слаще всех жар сердца утлит

Тема «трех ключей» как по необычайной поэтической красоте, так и по своей глубинной «апофатической» мудрости заслуживает специальной трактовки и по крайней мере трех книг – на каждый ключ по книге. О, Боже, как он был мудр, этот наш Сократ в странном облички когда-то увлекавшегося балами и «ножками»... Впрочем, ведь и древнеэллинический Сократ увлекался недостойным Алкивиадом, в котором могло быть и что-то достойное увлечения – иначе Бог не создал бы его таким, притом способным исповедать любимого учителя в том же смысле как и Дельфийский оракул. Неповедимы пути Божественного Промысла...

И кающийся поэт не хочет легкомысленно смывать «печальные строки», где написано все то, что отдаляет его от «строгоя рая» *подлинной вечной красоты*, о которой прекрасно и вдохновенно вещает Двотима Мантлвейнка в «Пире» Платона.

Разошедшиеся во временной жизни Пушкин и Баратынский духовно встретились у врат Небесного Града, Нового Иерусалима и соединились в одной и той же мольбе, мольбе о духовных силах, потребных для принятия в свою душу того, о чем «не дано говорить человеку».

Уже не в гениальных стихах с их непостижимо совершенной гармонией, но в подлинной предсмертной беседе с Богом, в *страшной, невыносимой тоске собственной Геллсманской ночи* Пушкин пережил то, для чего у Баратынского нашлись возможности молитвенного вздоха в год его смерти, в Неаполе, среди красот Италии, в то время как его старый дядья

итальянец Джашинто<sup>12</sup> угасал «под снегом холодной России». Какое удивительное чудо времени!

Царь Небес, успокой  
 Дух болезненный мой.  
 Заблуждений земли  
 Мне забвенья пошли  
 И на строгий Твой рай  
 Силы сердцу подай!<sup>13</sup>

Пушкину дана была Арфа Давида. — Но так же как и древний псаломщик он был обложен страстной плотью — *быть может, чтобы дать нам всем понять серьезность и тяжесть покаянного пути и отрешения от скуки земного бытия для безгрешного наслаждения несказанной небесной красотой.*

Впав в руки Божии в два страшные дня своей агонии, Пушкин прошел поусторонние мытарства, равняющиеся, *быть может, целому ряду подвижнических и мученических жизней... и тайна его исхода — светлая, радостная тайна святости.*

#### Примечания

Публикуется по изд.: Возрождение. Париж, 1968. № 204. С. 34-44. В пушкинских цитатах, приводимых В. Н. Ильиным и почерпнутых им, вероятно, из несовершенных зарубежных изданий, встречаются отличия от «канонических» текстов поэта.

1. amphitruon — радушный хозяин (*франц.*).
2. Неточная цитата из «Последнего поэта» Е. А. Баратынского (1835).
3. Из «Когда б я долго жил на свете...» В. Ф. Ходасевича (1921).
4. См., напр., статью К. Н. Леонтьева «О всемирной любви. (Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике)» // Варшавский Дневник. 1880. №№ 162, 169, 173. Новейшая публикация: Наш современник. 1990. № 7.
5. Первое издание книги И. А. Бердяева вышло в свет в Париже в 1934 году.
6. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Матф., VII, 6).
7. «Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в обществе своем и в доме своем» (Матф., XIII, 57).
8. Матф., X, 36.
9. «России» А. С. Хомякова (1854).
10. «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и

узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матф., VII, 13–14).

11. Имеются в виду «Опавшие листья. Короб второй и последний» В. В. Розанова (1915). См., напр.: Розанов В. В. Уединенное. Сост. А. Н. Николукhin. М., 1990. С. 213.

12. Речь идет о Джьячинто Боргезе – поэте, воспитателе Е. А. Баратынского.

13. «Молитва» Е. А. Баратынского, написанная в начале 1840-х годов

*Публикация и комментарии М. Д. Филиппа С*

## О состоянии русского языка \*

### *Материалы почтовой дискуссии*

В. Е. Гольдин,

кандидат филологических наук

Совершенно согласен с тем, что выражение «состояние языка» — только метафора. Было бы неосмотрительным разрабатывать и тем более принимать какие-либо меры, не определив, о чем на самом деле идет речь.

Думаю, что в форме критики состояния русской речи выступает сейчас прежде всего критика общества, ставящего перед говорящими такие цели, что они подчас легче достигаются речью формальной и скудной, чем живой и богатой. Эта «лингвистическая критика» (лингвистическая социология) поддерживает в обществе процесс самопознания, но, к сожалению, пока мало опирается на специальный анализ и отливается в основном в публицистические формы.

Чувство «оскудения» речи, по-видимому, вызывается, во-первых, тем, что зона официального общения с присущими ему сильными ограничениями, налагаемыми на выбор языковых средств, оказалась по известным причинам непомерно большой и угрожала поглотить всю область применения литературной речи. В опасности оказалось стилевое богатство русской речи, сокращались возможности проявления в речи личного начала. К счастью, полного совпадения «официальности» и «литературности» нет и, кажется, пошел обратный процесс.

Во-вторых, во многих случаях официального общения демонстрация ложности стала подавлять другие функции речи, повышая ценность уродливых и бессмысленных образований, лишь бы они служили символом «правотности». Происходило «функциональное оскудение» официальной речи.

В-третьих, формирование корпуса образцовых русских текстов по полигическим признакам и основаниям ослабляло само ощущение ценности красоты, образности, выразительности и точности речи. Сейчас заметно меняются критерии оценки качества речи: структурная правильность отступает (вероятно, временно) на второй план, освобождая место признакам функциональным. С этим связано, например, оживление риторики. Думаю, что «функционализация» речи — проявление здоровых, жизненных сил.

\* Начало см.: Русская речь. 1992. № 2.

Естественно, они формируют свою зону критики «состояния русского языка».

Интересно, что критерий искренности как оценка отношения говорящего к содержанию его речи (в отличие от «истинности» как отношения речи к референту) становится сейчас более значимым в приложении опять-таки к официальной речи. Проблема интересная. Текст научный должен содержать доказательства своей истинности, но не искренности автора: по отношению к научной речи действует «презумпция искренности». Разговорная речь ею не обладает, поэтому в ней естественны «Честное слово! Клянусь! Поверьте! Положа руку на сердце...» и подобные сигналы искренности. Официальная речь сигналами искренности не пользуется. Почему? Действует ли (действовала ли) здесь своеобразная «презумпция неискренности» или оппозиция по признаку искренности нейтрализуется в ней в связи с известной обезличенностью субъекта официальной речи?

Не продолжая перечисления, можно сказать, что многие отрицательно оцениваемые сегодня признаки «состояния русского языка» так или иначе связаны с официальной речью, с ее свойствами, с ее местом в общении, с воздействием на другие типы речи. Возможно, само противопоставление официальной речи проявлениям «неофициального» стало для нас более значимым. Таким образом, специфика современного «состояния русского языка» имеет, по-видимому, не структурную, а функциональную, речевую природу и определяется строением коммуникативной сферы. В ней источник напряженности, здесь же нужно искать и пути ее преодоления.

Особо следует сказать о русской речи в сельском общении. Заботы о состоянии языка обычно не относятся к диалектам, на которых говорит и еще долго будет говорить значительная часть русских. Оценивая литературную речь как высшую форму русского языка, нередко представляя дело так, будто литературный язык совершенно универсален и легко может заменить другие типы речи, в том числе диалекты в деревенском общении. Поколения и поколения учителей ориентировали на борьбу с диалектами. Учителя уверенно разъясняют сельским школьникам, будто родное их наречие, единственный язык их родителей, дедов, — не только не предмет гордости или по крайней мере уважения, а что-то постыдное, от чего поскорее следует избавиться. Не говоря уже о моральной, общественной стороне дела, это совершенно несостоятельно с научной точки зрения. Диалекты — особое образование, идеально приспособленное к общению в условиях традиционной сельской жизни и обладающее собственной речевой культурой. Переход от нее к культуре литературного языка в известном смысле сложнее, чем изучение другого языка, поскольку это не просто другая культура, но культура иного типа.

Именно в диалектах произошли за годы советской власти самые крупные изменения. Между тем внимание, уделяемое сейчас русской народной речи, недостаточно и не соответствует ее подлинной (не музейной) ценности и роли в развитии языка. Политика общества по отношению к диалектам складывается, к сожалению, стихийно и суть ее — небрежение. Собра

ается время на изучение диалектологии в вузах, одиннадцатилетняя школа отводит на знакомство с народными говорами два часа, русский язык изучается во всех сельских школах по одной программе, игнорирующей особенности местной речи...

Вероятно, пора провести серьезное рабочее совещание с участием министерств, комитета по образованию, издательств и, конечно, лингвистов, — совещание о русских народных говорах как объекте языковой политики, предварив его соответствующими публикациями, подготовив специальные материалы и подобное.

*Саратов*

### **В. П. Григорьев, доктор филологических наук**

Применительно к языку, его нынешнему «ужасающему состоянию» (Л. К. Чуковская), в самом деле можно сказать вслед за гоголевским героем: «Числа не помню. Месяца тоже. Было черт знает что такое».

Но о «состоянии», мне кажется, корректнее говорить все-таки применительно к нам, людям. Для языка давно уже предложен нейтральный термин «ситуация». Ср. также модное «сфера»: лингвосфера, в которой мы живем. Языковая ситуация несомненно драматична. Статус языка в нашей культуре, при обилии лестных эпитетов, и даже в академической филологии принижен, может быть, не осознан. Это не так?

Но ведь 1) 70 лет наблюдается стремление ввергнуть язык в «крепостное состояние». (Понятно, это в «Правде», «Советской России», «Нашем современнике» и «Литературной России» язык вырожденный и унылый, как наши лица на улице и в очередях, а, скажем, в «Коммерсанте» или «Известиях», или во «Взгляде» и т. д. он и «нормально веселый», как всегда, всякий, по способностям и потребностям.) «Дубовость» языка — непреложное языковое следствие политики, при которой «оппонентов не держали», а язык старались превратить в «идеологическую собственность» (вспомним пезуитство Сталина, «освободившего» язык от оков «надстройки»). «Мастер и Маргарита» или Хлебников сколько лет дожидались своего часа? Словечку «лысенкование» с его динамикой и сегодня предпочитают статичное «лысенковщина» как своего рода категорию состояния «общества в прошлом». Лишь случайно журналист (а не мы) обращает внимание на то, что наши большие для описания боли используют всего 5–6 слов, а английский — до 140 (см. Известия, 26 октября 1990 г.).

2) И русский язык погружен в семиосферу. Дело не только в «языках искусства», но и в «языке» аргументов и контраргументов. В нормальном обществе этот последний развивается нормальным, «естественным» путем. Мы же и сегодня не только говорим, но и слышим (!) «на разных языках», на разных тезаурусах. И не только из-за неинтеллигентности, но и потому, что объективно, в самом языке налицо процесс «омонимизации», «контра

стивной полисемии» (не знаю, как точнее его обозначить). Слова одны и те же: рынок, перестройка, совесть, дуловность, русская идея, порядковость, эксплуатация, нравственность и т. д. А смыслы различны до полярности. Если это и норма, то «ненормальная» в ее, надеюсь, неустойчивой «эптропийной симметрии» (см. ниже) при нашем филологическом пейтралитете и невникании именно к культуре языка.

3) Лексикографическая частность, но показательный штрих. Бодуэн существенно расширил Даля. Ныне Солженицын предлагает «Русский словарь языкового расширения» — в какую сторону? Мы — в восторге, «падаем до ног». Где наша «языковая критика»? Может быть, стоит задуматься, почему давно уже вышли «матерные» словари Юза Алешковского и других авторов (и зарубежный рынок наводнен ими), а вот давняя идея «Словари русской поэзии XX века» — или «сегодня «Поэтического Ожегова» все еще ждет спонсора и менеджера.

В публикациях последних лет я много раз касался проблем языковой и стилевой политики, культуры языка и художественной речи, русского полуязычия и личностного полноязычия, языкового творчества и творческих механизмов языка. В этой же связи я считаю полезным поставить нечто вроде вопроса об «основных тенденциях развития русистики в XX веке». Не в смысле конкретного углубления лексикограмматических описаний, а как бы под углом зрения филологического и культурологического единства.

Как ни надоели всякого рода «совместные предприятия», все же представляется необходимым мощный, может быть, международный общественный центр «Язык и культура» с лингвополитической доминантой. Его задачи выходят за пределы русистики. Но инициативу хорошо бы проявить именно русистам, так как они в первую очередь заинтересованы в обсуждении таких, к примеру, тоже не бесспорных «предварительных итогов» XX века:

- перспективы культурологии как «службы понимания» (как нас понимают литературоведы и искусствоведы),
- преодоление утопического языкового мессанизма,
- понятие «языковые нравы», «принципы языковой политики» и «этика языка» (ср. ниже),
- различие и единство культуры языка («господин», «сударыня»?) и культуры речи,
- понятие полноязычия,
- преодоление нормативизма как культурологической идеологии,
- понятие «воображаемой филологии» в связи с синтезом «неклассической поэзии» и «неклассической науки»,
- движение от конфронтации между «поэтическим» и «практическим» языками через «принцип единой лезвизны» к пониманию единства «нового мышления», «гносеологической поэтики» и «нового языка»,
- телеологический аспект языкового развития и опыт «плановой лингвистики».



— проблема целеполагания и вопрос «Что за языком?» в ряду понятий «идиолект», «идиостиль», «языковая личность», «образ автора» и т. д.

— этическая асимметрия слова как экспрессемы. (В слове как аббревиатуре высказываний «должно» доминировать «добро» как общечеловеческая ценность. «Зло» правомерно и неизбежно, однако не равноправно с «добром».)

**Е. А. Земская,**  
**доктор филологических наук**

I.

По-моему, надо разделить первый вопрос на две части: 1) состояние русского языка, или — точнее — типические особенности русского языка 80–90 годов; 2) умение пользоваться языком членов общества, другими словами, культура речи. Постараюсь ответить на оба подвопроса.

1). Состояние современного русского языка не вызывает у меня тревоги. Язык раскрепощен, свободен. И в этом ему помогла гласность. Правду, как известно, говорить легко и приятно. О хорошем состоянии языка свидетельствуют многие явления — расцвет публицистики, появление превосходных ораторов как в Верховном Совете (напр., А. Собчак, Ю. Афанасьев, Ю. Власов), так и на телевидении (многие ведущие, особенно молодые, мастерски владеют неподготовленной публичной речью — передачи «Взгляд», «Пятое колесо», «600 секунд», «Ночные новости» и др.). Разговорный язык также отнюдь не умирает.

2) Включение в общественную жизнь широких слоев общества, не имеющих опыта публичных выступлений, показало, что ораторами рождаются далеко не все, не все владеют умением выступать перед широкой аудиторией, не всем известны нормы литературного языка. Однако — это не новое явление, оно не связано с перестройкой. Так было и раньше. Только во времена застоя эти люди публично не выступали или — выступая, читали по бумажке. Сейчас — в свободных дискуссиях — чтение по бумажке стало невозможно.

И еще одно соображение. Общение с лингвистами других стран (Германия, Финляндия и др.) показало, что мы гораздо большие пуристы, чем многие другие народы. Диалектная фонетика или просторечные вкрапления в речь немца или финна не производят на слушателя такого впечатления, как у нас.

II

И не употребляю сочетания «состояние языка». Предпочитаю говорить об особенностях, типических чертах языка того или иного времени, о тенденциях развития, характерных для того или иного периода

## III.

1). Мне нравится древесная метафора языка. О нашем времени можно сказать, что особенно мощны и цветисты такие ветви, как язык публицистики, литературный разговорный язык, научно-техническая речь. Не хиреют и жаргоны, и профессиональные подязыки. В полутени, как будто, язык художественной литературы.

2). Применяя шахматную метафору (которая в ряде случаев особенно наглядна), можно сказать, вероятно, что: а) расширилось «поле», при этом б) некоторые игроки не усвоили правил игры или забыли их.

3). Используя инструментальную метафору, скорее всего можно сказать, наблюдая погрешности в области культуры речи, что неоправданно широко применяются некоторые правила, подходящие не для всех единиц (например, безобъектное употребление переходных глаголов). Одновременно с этим наблюдается чересчур широкое применение некоторых единиц, мода на которые подчас обедняет или коржит язык (*эпохальные подвижки; обустроить; консенсус, альтернативный* и др.).

## IV.

Думаю, что в понятие «язык» не следует вкладывать научные описания языка. Мы не удовлетворены – скорее всего – компетенцией некоторых посетителей языка, их неумением порождать правильные (т. е. отвечающие нормам литературного языка и требованию соответствия избранных средств целям коммуникации) тексты.

## V.

Язык – очень важный элемент культуры. Он зависит от культуры общества и сам влияет на культуру. Поэтому роль филологических знаний вообще и роль филологов-русистов для нормального функционирования общества весьма значительна.

**М. Н. Кожина,**

**доктор филологических наук**

1. Язык как явление культуры, несомненно, тесно связан с состоянием общества, которое, в свою очередь, влияет на состояние языка. Тем не менее, во-первых, само общество и его культура подвержены довольно быстрым изменениям, язык же (помимо лексики и орфоэпии) изменяется значительно медленнее. Во-вторых, при различении двух сторон языка, составляющих единство: системы знаков (язык в узком смысле – как потенция, как возможность) и его функционирования в различных сферах общения (язык как действительность) второй аспект, функциональный,

наиболее подвержен внешним влияниям и изменениям, во всяком случае, в современный период и на сравнительно небольшом отрезке времени (в 50–70 лет).

Исходя из этого и с учетом реальности современного существования языка, не считаю нынешнее состояние русского языка внушающим такую тревогу, как тревога за состояние нашего общества, а какое-либо «хирургическое вмешательство» по отношению к языку вообще невозможно, неэффективно, нецелесообразно.

Это допустимо и необходимо лишь на уровне культуры речи. При этом надо учитывать функциональные разновидности и варианты языка, не все они одинаково подвергаются изменениям и «порче». Сейчас в русском языке, точнее, в его нормах, в русской речевой культуре, сложный «период» (в результате действия известных социальных факторов), но это явление преходящее: впоследствии что-то отсеется, что-то останется. Но были периоды и более трудные и болезненные, например, петровская эпоха, первые десятилетия после Октябрьской революции. Однако ни к какой трагедии это не привело.

2. Сочетание «состояние русского языка» употребляю не часто: лишь в связи с рассмотрением вопросов его истории или культуры речи. В принципе это понятие не связано с негативными характеристиками, но по отношению к нашему времени — да (в указанном выше смысле).

3. Язык явление настолько сложное и многоаспектное, что существующие в лингвистике и указанные Вами три метафоры языка представляюг собою, на мой взгляд, три стороны (аспекта) его существования и — еще более — описания (познания).

Если принимать первую метафору (но без прямолинейного понимания цикличности, ее биологической стороны: зрелость — увядание), точнее, идею исторического развития и изменений языка в различные эпохи, то в отношении состояния современного русского литературного языка можно сказать, что это вполне сложившаяся система единиц всех ее уровней уже к середине XIX века, и дальнейшее развитие языка идет не в плане изменения самой структуры, но в плане обогащения и дифференциации функционально-стилевого многообразия и выработки стилевых норм (особенно на уровне текста). Думается, не вполне корректен вопрос о том, какую пору переживает сейчас русский язык по сравнению с предшествующим временем (о будущем следует говорить особо и предвидение его трудно). На первый взгляд кажется, что золотой век русского литературного языка был где-то в середине XIX века (в послепушкинскую эпоху), но это не вполне так, если иметь в виду не только состояние самой лексико-грамматической системы языка и его норм, но и функционально-стилевого многообразия, например, не сложились еще тогда нормы научной речи (о чем говорил и сам А. С. Пушкин).

А если уж говорить о будущем русского языка, то это зависит от того, какова будет история общества, его носителя, сохранится ли русская нация и ее культура. Думаем, что все же — да!

В отношении второй (игровой) и – в известной мере – третьей метафоры мы даем отрицательный ответ. Поскольку Соссюр имел в виду чистую (абстрактную и синхронную) модель языка, его структуру, к которой в принципе не применим диахронический аспект, как и функциональный, то с этих позиций невозможно говорить о том, что современное состояние русского языка зависит от потерь (или – связано с ними) каких-либо фигур (хотя в словаре, конечно, произошли известные изменения и «утраты») или – что забыты правила игры, либо сузилось или чрезмерно расширилось «поле игры». Сама системно-структурная сторона языка (тем более на уровне абстрактной модели) не изменилась (или изменилась незначительно: не настолько, чтоб расшатать или видоизменить основы самой системы и тем самым сказаться на ее состоянии, а именно плохом состоянии).

На вопросы, касающиеся третьей (социально-инструментальной) метафоры, такие, как «сокращение числа элементов», «ухудшение качества и ограничение количества», «недоброкачественность грамматики», мы даем отрицательный ответ (что уже отмечено в связи со второй метафорой). Однако с содержанием четвертого Вашего «пункта» («преобладающими оказываются правила, подходящие не для всех сфер или не для всех элементов») можно согласиться, если иметь в виду процессы активного воздействия в наше время устно-разговорной речи на ряд сфер письменной, в особенности публицистической и средств массовой коммуникации. В связи с этим налицо нарушение норм литературного словоупотребления (а частично и их изменение), но отнюдь не разрушение самой структуры языка.

4. Что такое для нас русский язык и в чем причины его современного состояния?

Русский язык (как и всякий другой естественный язык) – это сложная функционирующая система единиц и правил их употребления, существующая в сознании носителей языка в виде способности и умения строить тексты и реализуемая (реализованная) в последних; система, которая в процессе ее познания описывается лингвистикой в словарях, грамматиках и других трудах, которые в свою очередь оказывают известное (обратное) воздействие на языковое сознание и языковую практику (с языком не рождаются, ему обучаются). Тем самым речь идет не о разъединении трех указанных аспектов (совокупность текстов; описание языка, т. е. «бумажные схемы» – по терминологии А. С. Мельчука; языковое сознание, способности, умения), а об их единстве, взаимосвязях и взаимовлиянии. Языковед же вправе изучать тот или иной аспект языка (либо все вместе).

Неудовлетворительное состояние современного языка (имеется в виду литературный) скорее всего происходит из того факта, что большое число носителей языка (даже официально с высшим образованием) демонстрируют низкий уровень общей культуры, культуры общения и культуры речи (игнорируя порой вообще их необходимость); индивидуальное языковое сознание носителей языка и их умение «строить тексты», т. е. владение общенациональным языковым потенциалом, весьма низкого уровня. До революции число носителей литературного языка было меньшим, зато выи

мание к качеству своей речи, ее культура были выше, что в целом создает иное, чем сейчас, впечатление о состоянии языка. Кроме того, сами условия общения (быстрый темп жизни, суета и проч.) иногда не дают возможности сосредоточиться на вопросах стилистики речи (даже и в письменной форме).

Таким образом, современное состояние русского языка зависит в конечном счете от уровня культуры общества, говорящего на этом языке. Так что повышение общей культуры социума, а значит и языковой культуры, будет способствовать «улучшению» его состояния. И это естественно, так как язык — явление культуры.

Пермь

**В. В. Колесов,**

**доктор филологических наук**

1. Да, внушает тревогу, и даже сильнее, чем может показаться. Самые разные проявления речевой деятельности наших современников доказывают, что отсутствие глубокой программы гуманитарного образования и специализация научного знания (с конфронтацией академия — университет) вредят даже нравственному климату в нашей стране.

2. Нет, я не употребляю сочетания «состояние русского языка», оно сразу же вызывает нежелательные коннотации и так же воспринимается: полагаю, с целью вызвать подобное отрицательное ощущение описательный оборот и придуман.

3. Ни одна из метафор не годится, потому что лукавым образом уводит в сторону от специфики научного знания и от сущности языка — ни происхождение (метафора дерева), ни структура (шахматная метафора), ни функция («инструментальная» метафора) не исчерпывают содержательной сущности языка, которая может быть осознана не с помощью формально метаязыковой, а только с философской точки зрения, т. е. на следующем уровне научного познания. Ни один из трех обозначенных «компонентов» языка не годится вне совокупности их диалектического единства, т. е. коннотации — результата ее использования — и рефлексии о них (философский эквивалент: *вещество — энергия — информация*; богословский эквивалент: *Бог отец — Бог сын — Бог дух святой* — последнее привожу только как ссылку на многовековую традицию: указывает на постоянство именно диалектических единств в сознании). Однако диалектическая их цельность уже выше самих компонентов каждого в отдельности, что возвращает к тому же: язык есть реальность мысли и, следовательно, культуры — в национальных ее формах. Потому что «общечеловеческие ценности» (=общее) воплощаются только в национальных формах языка. За последние десятилетия сделано все, чтобы уничтожить весь комплект «компонентов»: традицию, «носителей», классические тексты, волю и способности творчества в языке — так о каком же «состоянии языка» мы теперь говорим?!

Естественное развитие национального языка во всей его концептуальной силе было сначала снято заменой отвлеченными терминами квази-христианской культуры, которая ныне выдается за коренную русскую (я историк, и потому под русским понимаю широко восточнославянское), а сегодня — уничтожается подменой абстрактно пустыми терминами наднациональной культуры: торжество становится фестивалем, собрание — форумом, совесть — сознательностью, общность — коллективом, служба — сервисом, любовь — сексом, согласие — консенсусом и пр., — сотни других ключевых слов культуры. Вы сами занимались изучением «психоглосса руссофона» и, конечно, понимаете, о чем я говорю. Если даже изучение русской грамматики (=рефлексия о языке) в академической науке последних десятилетий основано на чужеродной ментальности: синтаксис — на английских логических структурах, морфология — на заимствованных грамматических категориях и пр., — то чего мы хотим от людей, которые доверчиво тянутся к «Русской грамматике», ожидая найти ответы на свои сомнения, вопросы и тревоги? А словари для широкой публики? Как исковерканное однотомник С. И. Ожегова! Даже в 4-томном Словаре осталось немного ключевых слов русской ментальности (мы проделали работу по выявлению их — вы! многого не досчитались).

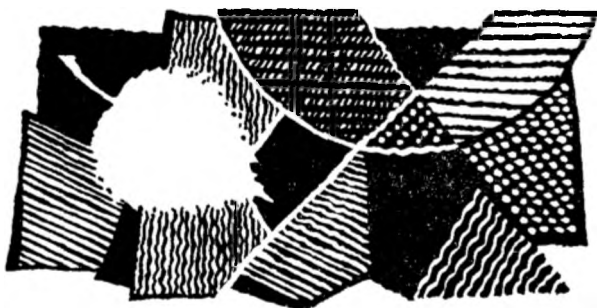
Чтобы решить эту проблему, необходимо заняться родным языком не как иностранным (basic Russian), а как языком русским.

4. Как ясно из сказанного, основная беда — в критической массе, которой достигло развитие языка на сегодняшний день: в совпадении всех трех отмечаемых Вами составляющих «языка». Начиная с потенции (компетенции), продолжая творческой деятельностью о языке и завершая рефлексией о них.

5. Ваша озабоченность идеологической стороной дела мне также понятна. К «думанию про одно» и «говорению про другое» я добавил бы еще и третье: «и делание третьего». Третье, как обычно это в примитивных привативных оппозициях конфронтации, — лишнее. «Третий лишний» — вот в чем беда! Да, я согласен: от нас, филологов-русистов, зависит духовное здоровье общества. А для этого самым решительным образом необходимо изменить все формы и типы исследовательских и практических работ по русскому языку, составив принципиально новые программы исследований и обеспечив их профессионально подготовленными и заинтересованными в исполнении тяжелых этих трудов кадрами.

*Санкт-Петербург*

*Продолжение следует*



## ЗВОНКОЕ ИНОЯЗЫЧИЕ

Н. В. Новикова,

кандидат филологических наук

«Нынче принимать чужих слов не должно, чтобы не упасть в варварет во... Прежде прием чужих полезен, после вреден», — писал в 50-е годы XVIII века М. В. Ломоносов, указывая на появление опасного недуга, ставшего со временем хроническим — злоупотребления иностранными словами. Против языкового «чужebesия» решительно восставал Петр Первый, который, несмотря на активное употребление в его окружении иноязычных слов, написал одному из российских послов: «В релициях твоих употребляешь ты zelo много польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно...»

Таким образом, государственный деятель и ученый оказались объединены одним общим стремлением — сберечь русский язык от нашествия чужезычной лексики, понимая, что язык является отражением культурной, духовной жизни народа, требующей для сохранения своей самобытности бережного к себе отношения. Так что же в таком случае делать? Полностью оградить русский язык от приходивших со стороны «гостей»? Издать указы, запрещающие употреблять в речи иноязычную лексику? Заменять каждое иностранное слово исконным, русским?

Очевидно, что такие силовые методы борьбы вряд ли принесут желаемый результат. Тем более, что любое возведение «китайской стены» и любая изоляция языка приведут к застою. «Живой как жизнь», он всегда должен получать новые стимулы для своего дальнейшего развития и обогащения.

ция. Поэтому проблема иноязычных заимствований тяготеет к себе весьма и весьма сдержанного и объективного подхода.

Прежде всего следует принимать во внимание то обстоятельство, что любые живые языки развиваются в контакте друг с другом, а заимствование иноязычной лексики относится к одному из способов обозначения новых реалий и понятий, неизбежно появляющихся в нашей жизни при наличии политических, экономических и культурных связей между народами. И чем теснее общение, тем больше возникает причин языкового заимствования, ибо лексика — это та область языка, которая наиболее чутко реагирует на различного рода внешние влияния и отражает происходящие в социальной, политической и культурной жизни общества изменения. Поэтому, в частности, каждой исторической эпохе свойствен свой круг заимствований.

Одними из самых древних в русском языке являются заимствования из родственного старославянского (или церковнославянского) языка, получившего довольно широкое распространение на территории русского государства после принятия христианства в конце X века. Являясь изначально литературным книжным языком, служащим для отправления религиозных обрядов, старославянский язык затем заметно расширил свои функциональные границы. Древнерусские летописные памятники дают нам довольно многочисленные примеры смешения этих двух родственных языков, что служит определенным свидетельством вхождения старославянизмов (церковнославянизмов) в быт русского народа. Значительное количество их употребляется и в современном русском языке: *священник, крест, власть, добродетель, бедствие, жертва, истина, жизнь, битва, казнь* и мн. др. Одна часть заимствованных старославянизмов являлась вариантами русских слов (*град* — *город*, *враг* — *ворог*, *брег* — *берег*, *глав* — *голова* и др.), другая — собственно церковнославянизмами (*истина, уста, ланиты*), третья — семантически дериватами (т. е. словами, имеющимися в обоих языках, но получившими в старославянском особое значение, с которым они затем и вошли в русский язык); *грех, господь* и некоторые другие.

Многие старославянизмы свободно и активно использовались и используются по настоящее время как стилистически нейтральные единицы лексики (*здравствуй, овощи, сладкий, освещение (свеча), страна, время* и др.). Однако следует обратить внимание и на то обстоятельство, что на протяжении многих веков употребление старославянизмов обуславливалось не только номинативными целями (т. е. необходимостью назвать ту или иную реалию, то или иное понятие, не имевшие аналогов в коренном языке), но и определенными стилистическими задачами. Главной из них являлось придание речи возвышенности, приподнятости, что довольно ярко проявлялось в поэтической речи. (См.: например, стихотворение А. С. Пушкина «Пророк», в котором именно использование старославянизмов позволило великому поэту создать особую атмосферу торжественности.)

Необходимым элементом выступали (и выступают) старославянизмы в тех произведениях, которые повествуют о событиях прошлого. В этих слу-



чаях их роль сводится к стилизации языка соответствующей исторической эпохи, к речевой характеристике персонажей.

Передко старославянизмы привлекаются писателями, в сатирических целях как особые средства создания юмора, иронии, сатиры.

Значительную роль в обогащении лексического состава русского языка сыграли и заимствования из классических языков (греческого и латинского), которые стали проникать в него еще с IX века. Большая часть этих заимствований относится к разряду специальной лексики, т. е. представляет собой научно-технические или общественно-политические термины, хотя не мало среди них и обиходно-бытовых слов. Ср., например, с одной стороны, *математика, история, логика, диктатура, меридиан, корпорация, конституция, пролетариат*, а с другой — *фонарь, тетрадь, кровать, школа, свекла* и др. Процесс использования слов или отдельных элементов слов классических языков для создания единиц терминологической лексики продолжает сохранять свою активность и в наше время, причем, не только в русском языке, но и во многих других языках мира. Это способствует созданию своего рода международного терминологического банка, что значительно упрощает специалистам разных стран чтение и усвоение научных текстов. Такое распространение интернациональной лексики вполне закономерно, и вряд ли даже среди самых крайних пуристов это может вызывать резко отрицательную реакцию.

Существенно пополнился лексический состав русского языка и заимствованиями из тюркских языков, импульсами для проникновения которых в предыдущие исторические эпохи служили самые разнообразные обстоятельства: торговые и культурные связи, военные столкновения и т. д. Слова *базар, курган, кобура, караван, очаг, каракуль, жемчуг, сундук, изюм, арбуз, бакалея, лапша, газ, чулок* и многие другие настолько прочно вошли в наш язык, что уже не одно поколение русских людей не видит в них «чужестранцев».

В процесс импортирования слов внесли свою лепту и некоторые страны европейского региона: Германия, Голландия, Англия, Франция, Италия и др. Отказаться сейчас от слов *сельдь, якорь, курорт, клевер, галстук, верстак, лидер, клуб, кекс, пальто, жилет, пельмени, пурга, томаг* так же невозможно, как и попытаться изъять из нашего быта и сознания стоящие за ними реалии и понятия.

Таким образом, нетрудно убедиться, что история проникновения иностранных слов является своего рода опосредованным отражением истории отношений русского народа с другими народами мира. Поэтому совершенно очевидно, что пока будут существовать контакты между разными народами, будет продолжаться и процесс лексического взаимовлияния и обмена. И пытаться бороться с «чужими» словами насильственными методами бесперспективно и бесполезно. Как образно сказал один из отечественных лингвистов: «Кто борется против заимствований вообще, тот пытается прекратить течение мощного потока песчинок».

Когда-то А. П. Сумароков в работе «О истреблении чужих слов из русского языка» писал: «Какая нужда говорить вместо *плоды, фрукты?* вм. *передняя комната, антишамбера?* вм. *комната, камера?* вм. *опахало, веер?* вм. *спанечка, мантилья?* вм. *вертнее платье, сюртук?* вм. *похлебка, суп?*... вм. *переписка, корреспонденция*, и еще чуднее, *каршипанденция?*...вм. *часть книги, том?*». Как видите, задавать подобные вопросы – весьма неблагодарное занятие. Как метко заметил В. Г. Белинский в своей статье «Речь о критике» (1842): «Гений языка умнее писателей и знает, что принять и что исключить».

В настоящее время такие слова, как *вселенная, власть, согласие, математика, кровать, тетрадь, школа, республика, туман, уют, салат, ябеда, лазер, номер* и мн. др., вряд ли кем-то из наших современников воспринимаются как «чужие». И хотя счет подобным широко усвоенным русским языком заимствованиям идет не на единицы и даже не на сотни слов, однако национальная самобытность русского языка от этого отнюдь не пострадала. При этом он не только полностью сохранил свою самостоятельность, а еще и значительно обогатился за счет чужезычной лексики. Причем, эти «чужестранцы» настолько прочно вошли в лексический состав языка, так «обрусели», что нередко об их «иноязычном происхождении» знают только лингвисты. Более того, нередки случаи, когда исконно русские слова воспринимаются носителями языка как чужеродные, а называющие те же самые реалии заимствованные – как коренные образования. Интересные примеры подобных казусов приводит в своей книге «Живой как жизнь» К. И. Чуковский: «Взять хотя бы слово *водомер*. Я читал в одной школе рассказ, где это слово встречается дважды. Иные школьники не поняли, что оно значит (двое даже смешали его с пулеметом), но один поспешил объяснить:

Водомер – это по-русски сказать: фонтан.

Фонтан они приняли за русское слово, а *водомер* за чужое.

Или другое слово – *зодчий*. Коренное старорусское слово, крепко связанное с целой семьей таких же: *здание, создатель, создатель, зиждитель* и т. д. Но (это было в 20-х годах) прохожу я как-то в Ленинграде по улице Зодчего Росси и слышу, как один из юных сезонников спрашивает у другого, постарше: что это такое за зодчий?

Зодчий, задумался тот, – это по-русски сказать: архитектор.

Было ясно, что русское *зодчий* звучит для них обоих чужим звуком, а иностранное (с греческим корнем, с латинским окончанием) *архитектор* воспринимается как русское».

Таким образом, усвоение иноязычной лексики, как мы убедились, имеет свою положительную сторону, ибо в целом способствует обогащению языка, привносит в него новые стимулы, активизирует те или иные процессы, реализующиеся на различных языковых уровнях. Недаром, в свое время Р. Ф. Брандт писал: «Вообще говоря, заимствование иностранных слов нельзя не считать явлением естественным и законным: приплытые слова имеют

даже весьма симпатичную сторону, как памятники мирного общения народов и их взаимного обучения».

Не следует забывать также то, что иностранное слово имеет и некоторые преимущества перед вновь образующимися на базе коренного языка словами, такими, например, как *отвлеченность* и *точность*. Заимствованное для обозначения какого-то одного конкретного предмета или понятия, оно его только и обозначает, не возбуждая никаких посторонних представлений. При этом нередко «в новом отечестве» слово получает более точное и определенное значение, чем в языке-источнике. Это свойство заимствованных слов давно и продуктивно используется в терминологии, где каждый термин имеет лишь одно, строго закрепленное значение. Понятно, что это положение должно быть верно и по отношению к другим языкам, так как в каждом языке иноязычная лексика чаще всего не имеет никаких ассоциативных связей с другими коренными словами. Но в действительности все это далеко не так. Американцы, например, совсем не боятся нежелательного многозначия, создавая на базе слов английского языка практически всю свою современную специальную лексику. Поэтому-то возведение этого положения в абсолют служит яркой демонстрацией крайней односторонности и тенденциозности в отношении к языку. В связи с этим хочется процитировать небольшой отрывок из статьи Г. Кульчинского «Безъязыковая гласность», напечатанной в бюллетене «Век XX и мир» (1990. № 9), где довольно предвзято оцениваются некоторые особенности русского языка: «На русском языке практически невозможно выразиться точно, объективно, терминованно: сразу же погружаешься в стихию оценок, эмоций, страстей. Поэтому, когда надо выразиться безоценочно, приходится сплошь и рядом заимствовать иностранную лексику. Нам явно мало *руководителя, начальника, заведующего, директора, администратора, управленца* и т. д. (мы знаем, что это такое — ничего хорошего), и теперь подавай нам компетентного *менеджера*, который квалифицированно и грамотно (объективно!) будет заниматься *маркетингом, промоушеном, лизингом* и т. п. И вот уже этот *менеджер* приобретает оценочный окрас. Русский язык — стихия столкновения позиций, игры амбиций и страстей, самовыражения и самоутверждения. Он глубоко личностно интонирован — само собой в речи, но прежде всего — самой лексикой.

Это язык художественной, но не научной литературы. Поэтому наша художественная литература полна личностных неологизмов, оценочно адаптированных говоров, а научная — заимствований терминологии. Этот язык дал великую художественную литературу, отразившую и выразившую нравственные искания и борения высшего накала страстей. Но этот язык не ориентирован на объективную истину. Точнее, он ориентирован на поиски и выражение правды, а не истины, на идеал и соответствие идеалу, но не реальности».

Ну что ж, автор прав в своем утверждении, что в русском языке довольно высок процент оценочной лексики. И в этом, действительно, он уникален и резко выделен среди многих других современных языков. Однако

---

Г. Кудльчинский, вероятно, не учитывает то обстоятельство, что в русской терминологии совсем не единичными являются такие, например, образования, как *лопатка, чашечка, ложечка, дорожка, карасик, собачка, шейка, лебедка, прорва, пузо, мамка* и мн. др. В языке науки все они имеют совершенно иное, чем в общелитературном употреблении, семантическое наполнение. Слово и термин объединяет как бы лишь одна «звуковая оболочка». А так как и функционируют они к тому же в разных языковых сферах, то и эмоционально-экспрессивная окрашенность этих слов не играет никакой роли при употреблении их в качестве терминов.

В действительности же дело далеко не в том лишь, что русский язык отличается богатством и разнообразием оценочной лексики, а и в том, например, что англоязычные страны идут во многих отраслях науки и техники намного впереди нашей страны, что специальная литература, изданная на английском языке, найдет себе гораздо больше читателей, чем если бы она была издана на других языках, что английский язык, наконец, является одним из самых «престижных» мировых языков.

*Продолжение следует*

---



*«Хочу сказать о языке  
сахарном, сладеньком, сусальном»*

Т. Л. Козловская

Как начал свою статью в «Литературной газете» Л. Борисов и продолжил ее следующим образом: «Не скажут лимон – непременно лимончик. Не скажут билет – билетик. Постоянно слышишь: четвертинка кругленького, площадочка, бутылочка, кило колбаски, газеточка, песочек, конвертик, марочка... Покажите мне видики Ленинграда, – попросила одна приезжая продавщицу».

Действительно, справедливые парекания вызывают многие формы, традиционно называемые формами с суффиксами уменьшительности – ласкательности, которые часто используются в речевом этикете. Вместо «Передайте, пожалуйста, на галоп» мы слышим «Передайте на талошчик» – получается, во всяком случае, не грубо, хотя, заметим, и вежливости-то особой нет» (это мнение лингвиста Б. Ю. Нормана)

По наблюдению некоторых исследователей, уногребление этих форм характерная черта женской речи; особенно изобилуют они в речи женщин в тех случаях, когда говорят они с детьми или о детях.

Однако образования с уменьшительно-ласкательными суффиксами могут встречаться и в речи мужчин, но, как правило, мужчин особо мягкого склада характера. Свойственное им гипертрофированное чувство вежливости приводит далеко не всегда приятное впечатление.

Уменьшительно-ласкательные образования в качестве форм вежливости используются и в других языках, например, в чешском. Интересно, что у чехов они употребляются в речи обслуживающего персонала, в то время как в нашем обществе, напротив, в речи обслуживаемых, покупателей. Не станем сейчас рассуждать о том, почему так случилось, но то, что это язы-

ковое явление связано с моментом чисто психологического плана, не поддается сомнению.

Французы слегка иронично называют это явление «приносить жертву благопристойности». На наш взгляд, необходимость в такой «жертве» возникает не так уж редко и к этому не следует подходить односторонне. В некоторых жизненных ситуациях употребление уменьшительных слов всецело оправданно. Это случаи использования их в качестве эвфемизмов. К их помощи мы, например, прибегаем тогда, когда возникает необходимость указать на отрицательные свойства чего-либо, а прямое (негативное) наименование невозможно по соображениям этического характера. Например: «Ты *бледенький* сегодня». Это означает, что говорящий отмечает бледность собеседника, но не желает акцентировать на ней внимания и говорит об этом как о незначительном признаке. Еще один пример: «Когда она улыбалась, лицо ее выглядело очень строгим, особенно из-за *долгой ковы* носа с острым *хребетком*, лишавшего его привлекательности» (А. И. Солженицын. В круге первом). Этот прием отчетливо виден в эпизоде беседы сестры и брата в повести А. П. Чехова «Три года»: «...Она молода, а ты, Алеша, уже не молод и не красив. Чтобы смягчить последние слова, она погладила его по щеке и сказала: «Ты не красив, но ты *славенький*».

Вообще в художественной литературе уменьшительно-ласкательные образования используются очень широко: они способны донести, передать чувство, душевное состояние, выразительнее представить мысль, и здесь трудно переоценить их роль. Да и в разговорной речи с их помощью, например, можно усилить иронию, противопоставление, определенные признаки, качества, свойства: «А что, он устроился *президентенько*: надежное *креслице* в министерстве, *дача* под Москвой с крытым бассейном...» (из разговора).

Покалудй, особая выразительность этих форм наблюдается в случае создания контраста, резкого противопоставления понятий, положений, образов, состояний. Приведем два примера из текста художественной литературы и публицистического высказывания. Первый принадлежит перу А. И. Солженицына; так он описывает глаза: «Голубой *кружочек*, черная *дырочка* посередине — а за ним мир одного единственного человека» (В круге первом). Здесь автор противопоставляет маленькое, простое и понятное в человеке (кружочек, дырочка) большому, сложному и загадочно му в нем (целый мир).

Второй пример взят из отдельного высказывания В. Набокова: «В этом *мирке*, где царили грусть и *гнильца*, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным...» В данном случае контраст строится на противопоставлении низкого и жалкого «мирка с гнильдой» высокому и сильному — «соборности» поэзии как самому светлому проявлению человеческого духа. Этими словами В. Набоков передает то тяжелое и сложное впечатление, которое произвело на него русское эмигрантское поэтическое общество.

Особенно интересно создание с помощью слов с суффиксами уменьшительности-ласкательности эффекта нагнетания или, наоборот, ослабления

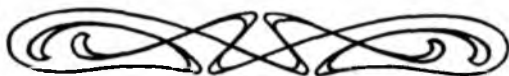
эмоционального звучания текста: «Что ни год — отупленно, покорно спускаться со ступеньки на ступеньку и в гордости, и в свободе, и в одежде, и в пище — и от этого еще короче становится память и смиренней желание забиться в ямку, в расщелинку, в трещинку — и как-нибудь там прожить» (А. И. Солженицын. В круге первом).

Тот же эффект возникает и в том случае, когда однокоренные слова без суффикса и с уменьшительным суффиксом в тексте следуют друг за другом: «Чьи-то железные пальцы давили память, как губик с испорченным клеем, выдавливая, выгоняя наверх *каплю, капельку*, которая еще сохранила человеческие свойства» (В. Шаламов. Леша Чеканов, или однофамилец на Колыме).

Как кажется, эти примеры достаточно ярко иллюстрируют экспрессивность уменьшительно-ласкательных образований, что позволяет говорить, на наш взгляд, об их особом месте в системе выразительных средств языка. Лучшее доказательство тому — язык художественной литературы.

Особого отношения к себе требуют уменьшительно-ласкательные образования в качестве этикетных форм. Их можно использовать для выражения внимания и вежливости, но в меру и к месту, иначе наша речь может стать «сахарной, сладенькой, сусальной».

## Наши консультации



### Как назвать жительницу Санкт-Петербурга?

Л. К. Граудина,

доктор филологических наук

Этот вопрос прозвучал на одной из лекций по культуре речи. Знаменательно, что ни одному из слушателей в первые пять минут не пришел в голову традиционный вариант прежнего названия. Ответили так: «просто жительница Санкт-Петербурга»; «ленинградка – так удобнее»; «Лучше вообще никак не называть»... Конечно, последний вариант ответа никого не может устроить.

В связи с происходящими в нашей стране переименованиями городов в редакцию «Русской речи» хлынул поток писем с вопросами не только о названиях жителей таких известных городов, как Екатеринбург, Рыбинск, Тверь, Самара, но и менее известных широкому читателю названий – Бейлаган, Мариямполе, Озургети, Худжанд и под.

Ответ на все эти вопросы можно получить в «Словаре названий жителей СССР», изданный в Москве в 1975 г. Этот словарь содержит около десяти тысяч наименований. В предисловии к нему авторы сообщают, что «в нашей стране около двух тысяч городов и более 470 тысяч поселков, деревень и хуторов». Все отечественные традиционные названия (дореволюционного периода) – ровесники наших городов и поселков, деревень и местечек. И каждый житель называет место, где он живет, каким-то одним, привычным ему словом. Для этой лексики даже существует особый термин. Ее называют «патронимической» (от латинского patria – отечество, родина).

Чтобы достаточно полно ответить на поставленные вопросы, нужно прежде всего еще раз напомнить о синонимическом богатстве русского языка. В языке наблюдается поразительная пестрота патронимических наименований. Эти названия образуются несколькими способами. Четыре из них используются чаще всего

Первый и самый универсальный способ – описательный, когда слово *житель* приводится в сочетании с географическим названием в родительном падеже: *житель Рыбинска, Екатеринбурга, Бейлагана, Мариямполь, Озургети, житель или жительница Санкт-Петербурга.*



Иногда описательный способ наименования может быть выражен с помощью прилагательного — определения, которое образовано от географического имени. Вспомним, как у Грибоедова в «Горе от ума» Платон Михайлович говорит Чацкому: «Как видишь, брат;/Московский житель и женат». *Сажарский, Тверской, Екатеринбургский* иногда прилагательное может употребляться даже как существительное, а слово *житель* при этом не употребляется: я, положим, *дуганская*, а он — *из орловских*. Надо заметить, что этот способ является приметой разговорной речи и обычно используется в бытовых диалогах.

Однако самыми распространенными в русском языке являются производные названия, образованные от географического наименования с помощью соотносительного суффиксального существительного: Самара — *самарцы*, Рига — *рижане*, Нижний Новгород — *нижегородцы*, Новосибирск — *новосибирцы*. Кстати, в нашей грамматике известно около десятка суффиксов, с помощью которых образуются патронимы, обозначающие жителей. При всем разнообразии суффиксальных образований все же самой продуктивной является модель с суффиксом *-ец*: Мариуполь — *мариуполец* — *мариупольцы*, Худжанд — *худжандец* — *худжандцы*, Андижан — *андижанец* — *андижанцы*, Екатеринбург — *екатеринбуржец* — *екатеринбуржцы* и т. д.

Если же основы оканчиваются на *-ц*, *-ск* с предшествующим согласным, они могут соединиться только с помощью суффикса *-чане*, *-ане* (для форм множественного числа): Екатек — *екатчане*, станица Кагальницкая — *кагальничане*, Белорецк — *белоречане* и под. Названия жителей и жительниц образуются при этом по аналогии: *екатчанин* — *екатчанка*, *кагальничанин* — *кагальничанка*, *белоречанин* — *белоречанка*.

Можно напомнить варианты названий для жителей старинного города Твери: во множеств. числе — *тверяки*, для жителя — *тверяк*, для жительницы — *тверячка*. В «Толковом словаре» Вл. Даля зафиксированы и другие формы — *свертяне*, *тверичане*. А в Тверской летописи отмечена даже форма *тверичи*.

Поговорим более подробно о названиях жителей Санкт-Петербурга. Интересно, что в «Словаре названий жителей СССР» зафиксировано более десятка его разных исторических названий. Теперь в разряд исторических попали еще достаточно широко употребляющиеся названия *ленинградцы* — *ленинградец* — *ленинградка*. Известные стихотворные строки Анны Ахматовой увековечили вариант *ленинградцы*:

А вы, мои друзья последнего призыва!  
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена,  
Над вашей памятью не стыть плаучей ивой,  
А крикнуть на весь мир все ваши имена!...  
И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами  
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет.

Однако в передачах на радио, телевидении, на театральной сцене теперь уже звучат прежние названия. Вспомним: до 1914 г. город назывался

Санкт-Петербургом, а с 1914 по 1924 гг. — Петроградом. Поэтому, когда русские писатели рассказывают о жителях Петербурга — они обычно используют названия *петербуржцы*, *санктпетербуржцы* и даже *петербуржцы* (редко). Всеволод Гаршин в «Петербургских письмах» писал: «Я не петербуржец по рождению, но жил в Петербурге с раннего детства». Иногда можно встретить и вариант *петербуржане*.

Если же время описания относится к 1914–1924-м годам, патронимы применяются другие: *петроградцы*, *питерцы*. В литературе встречаются даже *питеряне* и *питерчики*. Но самое ходовое название — *петроградцы*. У Константина Паустовского в «Повести о жизни» написано: «Я узнал, что на Украину уезжает несколько петроградских журналистов. Кто-то из журналистов познакомил меня с петроградцами».

И, наконец, как можно ответить на вынесенный в заголовок вопрос о названии жительницы Санкт-Петербурга или Петербурга? Соотносительные образования на *-ка* (типа *москвич* — *москвичка*, *костромич* — *костромичка*) привели к появлению варианта *петербуржца*. Но произносить его не очень удобно — язык спотыкается. У А. П. Чехова в личном письме употреблен шуточный вариант *петербуржица*, но этот вариант, конечно же, не может быть рекомендован как общепринятый. Остаются два других и равновероятных варианта: *петербурженка* и *петербуржанка*. Последний вариант многими воспринимается как стилистически возвышенный, поэтический. В самом деле, он и в стихотворные размеры легко ложится. Вспомним строки из стихотворения Беллы Ахмадулиной «Закливание»: «Петербурганкой на малярном юге проживу». Тогда как вариант *петербурженка* оставляет впечатление обиходного, делового, нейтрального.

Конечно, современное состояние патронимической лексики складывается на основе живого употребления, хотя исторические варианты всегда помогали и помогают понять и запомнить прошлое. Ведь языковая память народа точнее и глубже, чем какая-либо другая историческая память. И прежние варианты названий жителей — это маленькие исторические памятники, к которым следует относиться как к факту нашей отечественной культуры.

# ОДЕКУЙ

А. Е. Анникин,

кандидат филологических наук

Слово *одекуй* часто встречается в русских памятниках деловой письменности XVII века — того времени, когда развернулась начавшаяся раньше удивительная по своей интенсивности и скорости русская экспансия в Сибирь. Забытое, вероятно, уже с XVIII века, это слово напоминает об интересной и характерной детали начального этапа освоения Сибири, который сыграл огромную роль в исторических судьбах не только этого края, но и всей России (см.: Топоров В. Н. Россия и Япония на встречах путей. Народы Азии и Африки. 1989. № 5. С. 51).

Интересующее нас слово было хорошо известно в Мангазее — городе, основанном русскими первопроходцами Сибири в начале XVII века, на севере Западной Сибири, на реке Таз, и со временем запустевшем. В словаре памятников письменности Мангазеи читаем: *одекуй* — «особый сорт синих хрустальных бус, один из предметов обмена с местным населением» (Цомакион Н. А. Словарь мангазейских памятников XVII — первой половины XVIII в. Красноярск, 1971. С. 283). Все нужные нам примеры из словаря Н. А. Цомакион ограничены XVII веком, ср. в частности: «...твоего государева товару: олова и одекую ясашным людям на жалованье...» (1636 г.; «ясашные люди» — абorigены, обложенные данью, ясаком). В новейшем «Словаре русского языка XI—XVII вв.» (М., 1987. Т. 12. С. 269) *одекуй* дается в значении «стеклянные или фарфоровые бусы, бисер»; «отдельная бусина, бисерина»: отсюда производные *одекуина* «бусина, бисерина», *одекуйный* «состоящий из одекуя». Обращаясь к первоисточникам, можно проследить, как расширяется география слова, продвигаясь далеко на восток — в Якутию: «...триста пятьдесят аршин холсту, пуд одекую бѣлово, десять фунтов бисеру...» («Якутские акты», 1641 г.); «...половина нагрудника якутцково бабья... с одекуями...» («Якутские акты», 1643 г.) и т. д.

В целом, можно констатировать обилие употреблений слова *одекуй* в восточно-сибирских памятниках деловой письменности XVII века (см. еще данные Картоотеки Словаря русского языка XI—XVII вв. и Материалы по истории Якутии. М., 1970. Ч. I: Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии. М., 1951. С. 96, 101, 126). При этом большая частотность слова сочетается с однообразием, стандартностью контекстов, представляющих собой, как правило, перечисление каких-то предметов... Этот «русский товар» предназначался, как правило,

для «иноземцев», то есть аборигенного населения (например, тунгусов-эвек) в качестве предмета для обмена, поощрения, подарка: «...иноземцомъ на подарки послано восемьдесят пять придокъ *одекую* синего, по пятидесять одекуинъ в придокъ...» (1644 г.: Картоотека Словаря русского языка XI–XVII вв.) Бусы, бисер служили для русских удобным и, вероятно, выгодным средством налаживания и поддержания контактов с «иноземцами».

Слово *одекуй* заимствовано из ненецкого — языка самодийской ветви уральских языков (см. еще: Аникин А. Е. Об уральском вкладе в лексику русских говоров // *Uralo-indogermanica*, Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. Материалы конференции. М., 1990. Ч. 1 С. 18). Фонетические особенности русского слова позволяют предполагать, что оно было заимствовано еще до прихода русских в Сибирь — из крайнезападных ненецких говоров в севернорусские (архангельские), носители которых, как известно, стали первопроходцами Сибири. Именно в крайнезападных говорах ненецкого языка слово, послужившее источником заимствования, произносится без характерного для других говоров начального заднеязычного носового согласного: *одяко* «ягодка, бисерина», уменьшительное производное от ненецкого названия ягоды (Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. М., 1974. С. 402), обнаруживающего соответствия в других северных самодийских языках (энецком, иганасанском). Конечное *-уй* в *одекуй* вместо *-о-* в *одяко* напоминает субституцию *-уй* вместо *-и-* или *-о-* в словах, заимствованных в севернорусские говоры из прибалтийско-финских языков: сев.-рус. *холуй* «сор, нанос от разлива» — из финского *kalu*, и др. (Хелимский Е. А. О прибалтийско-финском языковом материале в новгородских берестяных грамотах // Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1979–1983 гг. М., 1986. С. 256).

Отметим, что от самодийцев русские переняли и этноним *тунгус* (Хелимский Е. А. Самодийско-тунгусские лексические связи и их этно-исторические импликации // *Урало-алтаистика. Археология. Этнография*. Новосибирск, 1985. С. 211) и название города Мангазея (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. II. М., 1986. С. 567).

Таким образом, культурно-исторический контекст бытования слова *одекуй* согласуется с предложенной в статье ненецкой этимологией.



## По первым буквам слов

Ю. З. Никитин

В январе 1959 года в газете «Комсомольская правда» были опубликованы стихи неизвестного советского солдата, найденные в развалинах фашистского концентрационного лагеря в Заксенхаузене. Исследователей заинтересовало, кому же все-таки они принадлежали? Кто этот поэт, сохранивший в суровых испытаниях концлагеря поэтический дар? Ответ на поставленные вопросы дало следующее стихотворение:

Помнишь ли ты город милый, родной,  
Отлогий, весь в зелени, берег Днепра?  
Речцу ли вспомнишь порой?  
Хочется птицей помчаться туда,  
Обнять свою родную старую мать,  
Милую девушку к сердцу прижать,  
Ей рассказать о прожитых годах,  
Нежно лаская, забыться в любви,  
Которая дышит нетленно в груди,  
Огнем жжет и вечно в мечтах...  
А будет, я знаю, то время придет,  
На Родину снова вернемся, мой друг!  
Там счастьем, что долго, ох, долго нас ждет,  
Однажды уйдемся,  
Надейся, мой друг, это время придет!

Когда сложили первые буквы всех строчек стихов, то прочли: «Порхоменко Антон». Подобное стихотворение, в котором начальные буквы каждой строки образуют какое-либо слово или фразу, называется акrostихом.

Акrostих слово греческое, в переводе на русский язык означает: «красотинище». Изобретение такого рода стихотворения приписывается

древнегреческому драматургу Эпихарму (VI—V вв. до новой эры). Его комедии отличались блестящим использованием языковых средств, зачастую основанных на игре слов. Затем акrostих встречается у римлян, в частности, у Квинта Энния, поэта и драматурга, жившего в 239—169 годы до нашей эры. Начальные буквы первых и последних стихов латинского изложения поэмы Гомера «Илиада», сделанного при императоре Нероне, образуют: «Написал Италик».

Но особенной популярностью эта форма стихов пользовалась у александрийских и византийских поэтов, а также в эпоху Возрождения. Великий итальянский писатель Джованни Боккаччо, автор «Декамерона», очень любил писать акrostихи.

У болгар, наших братьев по письменности, акrostих был излюбленной формой в IX веке, в период расцвета национальной литературы. Константин Болгарский, один из учеников славянских просветителей Кирилла и Мефодия, составил в 894 году сборник поучений. Начинается книга со стихотворного предисловия «Пролога», получившего широкое распространение на Руси (сохранились списки начиная с XII века).

«Пролог» представляет собой типичный акrostих, его начальные буквы составляют азбуку. Возьмем отрывок из середины:

И летит ныне славянско племя  
 Ко крещению; обратишия веи,  
 Люди твои нарешиши хотяще;  
 Милости твоея, боже, просят зело.

Между прочим, у последнего крупного поэта Рима Децима Магна Алвина, жившего в IV веке до нашей эры, есть стихотворение, где последние буквы образуют полный алфавит.

Болгарские акrostихи встречались на Руси нередко. Они не нуждались в переводах, так как книжным языком в то время оставался церковнославянский, или древнеболгарский, который постепенно русифицировался.

Академик В. Н. Петец в «Историко-литературных исследованиях и материалах», вышедших в Санкт-Петербурге в 1900 году, сообщает, что на Руси статьи, знакомящие читателей с родами стихов, с акrostихом появились уже в XVI веке. Одним из первых это сделал писатель, публицист, богослов Максим Грек. Он пишет: «Некие творцы канонов, чтобы охранить свой труд от тех, которые любят заимствовать и присваивать чужие труды, изобрели „акrostихиду“».

Включение имени поэта в акrostихи в какой-то степени свидетельствует, очевидно, о пробуждении авторского самосознания. Ведь в то время, по установившейся традиции, творческий процесс продолжал восприниматься как результат коллективного творчества. Но, конечно же, эта причина — не единственная. Акrostихи широко использовались как тайнопись — способ обмануть цензуру, желание сделать понятным лишь для немногих посвященных, как указание на имя автора в недописанном произведении и пр.

В 60-х годах текущего столетия французские литературоведы, изучавшие творчество выдающегося поэта средневековья Франсуа Вийона, открыли тайну, просуществовавшую около пятисот лет. Оказалось, что почти каждое стихотворение Вийона является либо акростихом, либо телестихом, либо мезостихом. Если читать только первые буквы всех строчек, или только последние, или каждую пятую, или снизу вверх, то можно обнаружить в произведениях Вийона множество сведений о жизни поэта. Каждому стихотворению или, можно сказать, каждому шифру, соответствует свой особый ключ. В настоящий момент расшифровано более полутора тысяч стихов Вийона. Получены новые интересные сведения о его жизни. Стало, например, известно, кто и почему преследовал поэта.

В русской и советской поэзии можно найти немало стихов, начальные буквы строк которых составляют имя, или имя и фамилию адресата, кому посвящено стихотворение, или какое-нибудь высказывание, пожелание. В форме акростиха иногда пишут загадку, а ее разгадка — в первых буквах строчек. Рассчитанный прежде всего на зрительное восприятие, акростих развился из магических текстов, был популярен в поэзии поздней античности, средневековья, барокко, в том числе в русских стихах XVII века.

Уже Максим Грек приводит примеры акростиха. Изучая рукописные песенники XVII—XVIII веков, ученые обнаружили среди них на церковнославянском языке 6 песен-акростихов с именами и фамилиями придворных: «княжна Марья Юрьевна» (Трубецкая), «Настасья Гавриловна Головкина», «княжна Прасковья Трубецкая» и другие. Составление таких стихов было особенно распространено среди поэтов-монахов, сторонников церковной реформы в XVII веке патриарха Никона. Выдающимся мастером сложных «краеистиший» считается иеромонах-никоновец Герман. Им написано свыше 1600 стихов. Естественно, что все они на духовные темы. Но это не умаляет их литературного значения. Дошедшие до нас 14 песен-акростихов с именем Германа («Герман монах, моляся, писах», «Герман сие писах», «Рекли вси: иеромонах Герман» и др.) представляют собой самостоятельные содержательные произведения с определенной композицией: вначале дается основное положение, далее следует его развитие, а в последних 2—3 строфах — заключение.

Исследователь творчества Германа А. В. Позднеев пишет: «Герман постепенно усложняет свое мастерство, сочиняя сначала песни с одним акростихом, читающимся или сверху вниз, или слева направо, затем с двумя, из которых один читается сверху вниз, а второй — слева направо, и еще более сложными — с двумя, читающимися одновременно и сверху вниз, и слева направо акростихами, с тремя и т. д. При двух акростихах один (охватывающий вступление и изложение) читается по столбцам сверху вниз, а другой (из заключительных стихов) получается при чтении начальных букв стихов слева направо. Таким образом, акростих Германа органически связывается с песней

Песни-акростихи Германа с упоминаниями авторского имени в этапах его монашеского пути свидетельствуют о том, что он отступил от неписи

ных монашеских законов скромности, считая создание песен своим личным делом. В области акростиха он достаточно потрудился. Его песни представляют собой известное движение вперед по пути к овладению поэтическим мастерством акростиха».

В XVII веке помимо Германа акростихи писали Симеон Полоцкий, Карион Истомина, Евфимий Чудовский, Иларион, Феоктист и другие. Так, Карион Истомина, иеромонах из числа московских просветителей и поэт, в «Большом Букваре», изданном в 1696 году, напечатал акростих, начальные буквы которого составляют фразу: «Алексей Царевич, вечно живи», посвященные сыну Петра Великого. А в книге «Служба и житие Иоанна воина» (1695) он в конце поместил акростих, в котором красным цветом выделил свое имя и фамилию.

В 1738 году поэт-виршевик Михаил Собакин написал большое стихотворение «Совет добродетелей о поздравлении Анны Ивановны» с присоединенным отрывком, представляющим акростих «Виват, Анна Великая», являющимся к тому же «грифическим стихотворением» (гриф — фантастическая, четвероногая птица). Такие стихи содержат слова, читаемые по названиям букв, благодаря чему стихотворение получает иной смысл.

Например, у М. Собакина: «Т... с ней уповай и надейся всяко» читается: «Твердо с ней уповай и надейся всяко».

Поэт XVIII века Ю. Нелединский-Мелецкий, память о котором сохранилась благодаря его песням, получившим распространение в народной среде — «Выйду я на ременьку» и др., написал следующую «Загадку акростическую»:

Довольно именем известна я своим;  
 Равно клянется плут и непорочный им,  
 Утехой в бедствиях всегда бываю боле,  
 Жизнь сладостней при мне и в самой лучшей доле.  
 Блаженству чистых душ могу служить одна,  
 А меж злодеями — не быть я создана.

Ответ: *дружба*.

Подобная загадка есть и у выдающегося русского поэта XVIII века Г. Р. Державина:

Родясь от пламени, на небо возвращаюсь;  
 Оттуда на землю водою ниспускаюсь,  
 С земли меня влечет светило дня к звездам,  
 А без меня тоска смертельная цветам.

Ответ: *роса*.

Есть такие акростихи-загадки и у поэтов уже нашего века, например, у Сергея Городецкого:

Кто когда бродил в тумане  
 Ночью, в холоде, во мгле,



Иль в людском земном обмане,  
Гордо знает, что земле —  
Альфа света, солнца, знаний?

Ответ: книга.

В XVIII веке помню М. Собакина, Ю. Нелединского-Мелецкого, Г. Р. Державина акrostихи писали В. Тредиаковский, А. Сумароков, И. Дол-  
горукий и др.

В XIX веке акrostихом занимался тонкий лирик, виртуоз стиха рус-  
ский поэт Л. Мей. Но уже в то время акrostих встречается реже. А в XX ве-  
ке вновь пробуждается интерес к «краестихию». Вот акrostих М. Кузмина  
с посвящением Валерию Брюсову:

Валы стремят свой яростный прибор,  
А скалы все стоят неколебимо,  
Летит орел, прицелов жалких мимо,  
Едва ли кто ему прикажет: «Стой!»  
Разящий меч готов на грозный бой,  
И зов трубы звучит неумоимо.  
Ютятся в тени, шипит непримиримо  
Бессильный хор врагов, презрен гобой.  
Ретивый конь взрывает прах копытом.  
Юродствуй, раб, позоря Букефала!  
Следа, казнясь, за подвигом открытым!  
О лет царя! Как яро прозвучала  
В годах, веках труба немолчной славы!  
У ног враги — безгласны и безглавы.

Интересен и акrostих В. Брюсова, посвященный Николаю Бернеру:

Немеют волн причудливые гребни  
И замер лес, предчувствуя закат,  
Как стражи, чайки на прибрежном щелбе  
Опять покорно выстроились в ряд.  
Любимый час! И даль и тишь целебней!  
Алмазы в небе скоро заблестят;  
Юг расцветет чудесней и волшебней,  
Бог сумрака сойдет в свой пышный сад.  
Есть таинство в сияньи ночи нежной,  
Роднящей душу с вечной тишиной,  
Нас медленно влекущей в мир иной  
Есть мир, когда и счастья не нужно:  
Рыдать — безумно, ликовать — смешно  
У мирных вод, влекущих нас на дно.

Оба акrostиха — и М. Кузмина, и В. Брюсова — являются сонетами вы-  
сокой художественной формы. Такие стихи импровизировал и русский поэт  
К. Бальмонт. А «изобрел» акrostих-сонет французский поэт XVI века  
Гийом де Поэту, издавший свои произведения в 1565 году

Запрятанное в стихотворении слово или фраза могут располагаться не-  
только в начале строк, но и составляться из конечных букв, либо из сред-  
них. В таком случае они носят название уже не акrostиха, а телестиха и  
мезостиха. Можно составлять и двойные акrostихи, где одно слово или

фраза размещается по начальным буквам строк, а другое, скажем, по конечным, или в другом сочетании. Прекрасные акrostихи, телестихи и мезостихи писал римский поэт Октавиан Порфирий, он же в III веке до нашей эры написал комментарий к сочинениям Горация. Из поэтов XX века в области мезостиха можно выделить Вадима Шершеневича и Александра Туфанова, в приводимом мезостихе которого из средних букв складывается: «Наташе на память»:

Когда туман, как дым ползет к ущелью  
азалий Дафна ищет по горам,  
Вепок плетет... а я несусь с метелью  
сквозь льды, без солнца, выше по скалам,  
туда, где тишь царит в пустыне синей...  
Там в глубине зеркальной паутиной  
я вечно скован: с Дафной я не сам.  
Когда она волной своей прибойной  
бьет снизу в насыпь млечного пути,  
И как звезда и как ручей разройный,  
лечу к ущельям — вижу, не найти;  
ищу огня, в который мир закован...  
опять, опять землей я зачарован.  
Чтоб снова в натишь звездную уйти.

В 20-х годах в журнале «Смена» и ленинградской вечерней «Красной газете» даже проводились конкурсы акrostихов. В частности, в журнале «Смена» под руководством Владимира Пяста, поэзии которого было присуще повышенное внимание к ритмической стороне, разнообразию форм, читателям предлагалось написать в стиле любого поэта стихотворение таким образом, чтобы по первым буквам строк можно было прочесть его имя и фамилию, или инициалы и фамилию, или одну фамилию. На конкурс поступило 90 акrostихов в стиле 36 поэтов. Причем большинство участников написали стихи «в манере» С. Есенина и А. Пушкина. Перепечатываем из журнала акrostих Д. Ивапова «За чтением Онегина»:

Певучий стих как будто над собою  
Усилия не ведал и трудов.  
Широкою он катится рекою,  
Как ясен смысл, какая четкость слов!  
И все так просто... Кажется, что сам бы  
Не написал иначе эти ямбы.

В периодической печати тех лет можно найти акrostихи-посвящения, акrostихи-поздравления (по первым буквам читается: «Поздравляем с новым годом») и даже акrostихи-рекламу. В газете «Правда» от 13 декабря 1922 года помещено за подписью «Рабочий До» стихотворение, где начальные буквы составляют фразу «Подпишись на „Правду“». В кооперативном журнале «Город и деревня» за 1924 год (№ 11–13) появился акrostих, начальные буквы которого объявляют: «Принимается подписка на „Город и деревню“».

В те годы была также мода сокращенно называть человека по первым буквам его имени, отчества и фамилии. Валентин Катаев в произведении «Алмазный мой венец» вспоминает одного из современников, получившего таким образом имя Мак.

Акrostих прочно держится до сих пор; вот, к примеру, какое стихотворение Николая Глазкова было напечатано в газете «Московский комсомолец» за 1976 год под рубрикой «Турнир поэтов».

Летит по космосу комета  
Ее павлиний яркий хвост  
На миллионы тянет верст.  
Однако про комету эту  
Что думает Глазков поэт?  
Комета, — скажет он, — ракета,  
Естественно, иных планет!

*Челябинск*

### Полемиические заметки



Статья члена-корреспондента РАН О. Н. Трубачева «А кто там идет? Взгляд на этногенез белорусов» (Русская речь. 1991. №№ 3-5) вызвала читательский интерес. Среди откликов — письмо и статья доцента Гомельского гос. университета имени Ф. Скорины, кандидата филологических наук А. Ф. Рогалева, который, в частности, пишет: «Конечно, редакция может найти достаточно веские причины для того, чтобы мой материал не был опубликован. Но, поверьте, это не прибавит авторитета ни журналу, ни тому автору, с которым я полемизирую и которому задаю несколько вопросов. Эти ответы жду не только я, их ждут и читатели в Белоруссии, которым поднятая в «Русской речи» проблема отнюдь не безразлична».

Не изыскивая ни в этом, ни в других случаях никаких «достаточно веских причин», кроме интереса читателей и науки, публикуем реплику А. Ф. Рогалева и ответ на нее О. Н. Трубачева.

## Откуда же шли предки белорусов?

Можно с уверенностью сказать, что все подписчики «Русской речи» в Белоруссии (а таких немало) и даже «исподписчики» с особым вниманием, интересом и очарованием читали статью члена-корреспондента РАН О. Н. Трубачева, посвященную предыстории белорусского народа. Утверждаю это со всей серьезностью: огромная эрудиция автора, богатый фактический материал, оригинальное прочтение ряда хорошо известных и в некотором роде традиционных этнонимических и топонимических фактов, наконец, новая трактовка сугубо теоретических проблем не могли не привлечь читателей — специалистов и всех тех, кому не безразличны судьбы восточного славянства.

Действительно, вопросы генезиса языка и этноса в наши дни являются проблемами не только ученых, но и пробудившегося самосознания «членов» бывшей «советской общности». Нам, вслед за О. Н. Трубачевым, отчаянно это сознавать, ибо каждый народ должен подробно и всесторонне предста-

лять глубину своей исторической ретроспективы, а не те «кабинетные схемы», которые еще совсем недавно считались незыблемыми научными истинами. Нам очень отрадно сознавать, что именно О. Н. Трубачев, один из самых видных ученых-славистов, указал на абсурдность искусственного деления процесса рождения народа на этапы, называемые «формированием народности» и «формированием нации». Еще ни один общественвед убедительно не разъяснил разницу между этими понятиями – «народность» и «нация». А все потому, что разницы никакой нет, и сами слова *народ*, *народность*, *нация* – это синонимы. Формирование народа – это единый процесс, имеющий свое начало и свой завершающий этап. Главный признак народа – язык, который также подразделяют на язык народности и нации. Но это опять-таки искусственное противопоставление. В формировании языка есть начальный этап, на котором происходит интеграция территориальных диалектов, вырабатываются общие для всех представителей данного общества нормы, которые постепенно начинают восприниматься как обязательные и основные в конкуренции с нормами ряда диалектов и закрепляются благодаря консолидирующей роли и распространению литературного языка, появление которого знаменует наступление завершающего этапа формирования и языка народа, и самого народа.

Белорусы как народ, нация, заявили о себе на рубеже XIII–XIV веков, когда они начали создавать свое первое государство – Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское. Одним из первых, кто понял это, был славный сын белорусского народа Максим Богданович, 100-летие со дня рождения которого отмечено в 1991 году (см. его исторический очерк «Белорусы» [1, с. 340]). Еще и сегодня находятся ученые, которые из названия самого государства – Великое княжество Литовское... а также из того факта, что этим государством со второй половины XIII века и до 1572 года управляла отнюдь не славянская по происхождению династия князей (об этом факте см.: [2, с. 64]), делают вывод о его «литовском характере. Между тем восточнославянским, Русским, государством с IX века также управляла далеко не славянская династия. Пылятся в архивах трактаты, в которых на основании факта «принятия варягов» подвергалась сомнению способность восточных славян создать свою государственность. Пример с Великим княжеством Литовским – разве не аналогия?

В конце XIV века собственно балты (литовцы, «жмудь» – жемайты) в Великом княжестве составляли только 20% всего населения и занимали 10% его территории [3, с. 62]. Официальным языком государства с XIV века и до 1696 года являлся язык белорусский. В 1696 году литовско-белорусские послы на сейме Речи Посполитой внесли предложение о замене белорусского языка польским в государственном употреблении на территории Великого княжества Литовского [2, с. 17, 48]. Все эти факты только сейчас стали достоянием широкой общественности. Обстоятельства приглашения белорусскими феодалами литовских князей в Новогородок (современный город Новогрудок Гродненской области – первая столица княжества до 1323 года, затем столица была перенесена в Вильню, нынешний Вильнюс)

достаточно подробно в последнее время проанализированы белорусскими историками, да и само название *Литва* ныне трактуется совсем не в соответствии с устоявшимися стереотипами [4, с. 312–320; 5, с. 22–37 и след.]

Что же следует из этого очень краткого изложения новой трактовки письменной истории белорусов? Главный вывод: XIII–XIV века — это не начало, а завершение формирования белорусского народа и его языка. Не случайно этот период в политическом плане связывается с окончательным крушением Древней Руси. И хотя О. Н. Трубачев специально подчеркивает аллегоричность еще одной схемы, в соответствии с которой политическая история народа прямолинейно накладывается на собственно этническую историю, на жизнь самого народа и развитие его языка, полностью отрицать эту взаимозависимость нельзя. Возникновение Белорусского государства знаменовало завершение формирования белорусского этноса и языка. В это же время, на рубеже XIII–XIV веков, сформировались русский и украинский этносы, у каждого из которых был свой политический центр соответственно Московское и Галицко-Волынское княжества. Кстати, XIII–XIV, а затем и XV–XVI века были ознаменованы упорной, часто кровопролитной и жестокой борьбой вначале Великого княжества Литовского с Галицко-Волынской Русью (в XIV веке она называлась *Малой Русью*, см. [6, с. 141]), а в XV–XVI веках — с Московией. Это была не просто борьба за земли, это была борьба за политическое влияние, приоритет, лидерство. В пределах Великого княжества Литовского единый «югозападнорусский», по терминологии О. Н. Трубачева, язык не мог возникнуть не потому, что все «решала не политика, решало собственное развитие самих языков, вещь гораздо труднее уловимая», а потому, что в момент включения в состав Великого княжества Литовского Волыни, Подолья, Киевского княжества, Северской и Черниговской земель (эти и другие, восточные, территории, включая Смоленск, вошли в состав белорусского государства в годы княжения Гедимина — 1315–1340, и в годы княжения Ольгерда — 1341–1377) уже существовали самостоятельные украинский и белорусский языки.

Нам отрадно сознавать, что именно О. Н. Трубачев недвусмысленно подчеркнул: «пробораз» белорусов, то есть те этнические и языковые черты, которые отличают белорусский этнос от других, складывались задолго до рубежа XIII–XIV веков. Впрочем, логика рассуждений автора подсказывает и такой вывод, который мог бы прозвучать. Древняя Русь, та, что предстает перед нами в летописях, с самого начала не была централизованным государством. В ее границах наблюдались не процессы этнической и языковой интеграции, а, наоборот, этноязыковой дифференциации. Хорошо известные летописные события, от вокняжения Олега в Киеве в 882 году и до нашествия монголов, — это политическая хроника завершающего этапа существования восточнославянской общности, это конечный этап восточнославянского единства. Начальный этап, до IX века, в летописях почти не отражен.

В существовании общевосточнославянского единства сомневаться трудно. Иное дело — как его трактовать. О. Н. Трубачев очень решительно и

как-то даже раздраженно отвергает концепцию гетерогенного происхождения общевосточнославянского единства, и поэтому та идея, которую он отстаивает, а именно, — идея центра всего восточнославянского ареала, «упрятанного» в водораздельный регион Верхнего Дона — Верхней Оки, из которого исходили основные импульсы на всю остальную восточнославянскую периферию, в интерпретации автора вступает в явный диссонанс с теми его идеями, о которых шла речь выше. Можно сказать даже более определенно: озабоченность О. Н. Трубачева идеей восточнославянского центра представляется как раз такой «кабинетной схемой», против которой решительно восстает он сам.

В этой связи — наш первый вопрос ученому: не считает ли он, что в предложенной им схеме (здесь это слово мы употребляем в ином значении — как изложение, описание концепции автора в главных чертах) совершенно неправомерно отождествляются разные понятия — понятие центра языкового ареала, вырабатывающего достаточно поздние инновации (как-то: аканье и белорусское дзеканье и цеканье), и понятие центра восточнославянского этногенеза, то есть той территории, которую в известном смысле можно назвать «прародиной» восточнославянской общности? Иначе, как понимать путь радимичей, пришедших с запада, «от ляхов»? По мнению О. Н. Трубачева, радимичи должны были прежде прийти в предполагаемый «центр» и только после промежуточной остановки здесь вновь повернуть на запад, чтобы навсегда остановиться в юго-восточной части Белоруссии. Если же Верхнее Подонье является в понимании автора только центром языкового ареала, причем, скорее всего только общерусского, но не общевосточнославянского, поскольку эта территория — явно позднего и вторичного заселения восточными славянами, то как объяснить появление аканья в ареале кривичей, то есть в северо-восточной части Белоруссии? Кривичи, по мысли О. Н. Трубачева, шли с юга и Верхнее Подонье не «посещали». Отсюда следует *третий вопрос*: не кажется ли уважаемому ученому, что вторичность белорусского аканья, в частности, в ареале тех групп, которые никак не могли быть связаны с центром этого языкового новообразования, и первичность среднерусского аканья (на Верхнем Дону) есть не что иное, как достаточно поздний результат своеобразной вторичной нивелировки и определенной интеграции уже разных диалектов? И если подобное могло происходить на рубеже XII—XIII веков (мы согласны с объяснением О. Н. Трубачевым причин, вызвавших аканье), то тем более неправомерно отказываться видеть результаты взаимодействия, смешения, скрещивания, распространения определенных культурных и языковых явлений в контактных зонах в предшествующий период. Все это отнюдь не противоречит идее родства, единства восточных славян.

При решении проблем этногенеза и глоттогенеза крайности, то есть наставание на одной какой-то причине, породившей данное явление, на одном определенном объяснении факта, вообще неуместны, будь то теория балтского субстрата применительно к этногенезу белорусов, версия о гетерогенном происхождении восточнославянской общности или концепция

«чистоты» этноса и языка, когда преувеличиваются внутренние причины их развития.

В калейдоскопе веков происходит непрерывное взаимодействие, смешение народов, причем это настолько очевидно, что можно сказать так: этносы всегда возникают в результате контактов. При решении вопросов этногенеза восточных славян следует помнить о той прочной этноязыковой основе, которая обеспечивала родство расселившихся от Новгорода Великого до Тьмутаракани и от бассейна Оки до Карпат разных восточнославянских группировок, «цементировала» их единство в самых разнообразных, несхожих этнографических, географических, языковых условиях.

Наиболее характерные языковые признаки, объединяющие все восточнославянские (русские, украинские, белорусские) говоры и отделяющие их от западнославянских и южнославянских говоров (см.: [7, с. 90–92]), начали формироваться, по всей видимости, на рубеже новой эры в ареале так называемой зарубинецкой культуры, распространявшейся от верховьев Припяти и Западного Буга до верхнего и среднего течения Южного Буга и Днестра, а также до Среднего Поднепровья [8, с. 31–32]. Ареальное единство восточнославянской группировки было нарушено во II–III веках движением готы из Южной Прибалтики, однако затем оно (единство) было восстановлено и существовало вплоть до VI–VII веков, хотя в нем уже наметилось размежевание (культура пражского типа на Волыни и в южном, Житомирском, Полесье, и Культура антов в междуречье Днестра и Днепра) [9, с. 135–136; 10, с. 252]. В начале VII века восточнославянское единство было окончательно нарушено нашествием аваров – «обров» (см. известие об этом в «Повести временных лет»). С этого времени начинается движение восточнославянских племен, в частности, на север, в нынешнюю Белоруссию. С этого времени судьбы восточнославянских группировок оказываются различными, но единство и изначальное их родство осознавались ими (и осознаются до сих пор!) очень отчетливо. И ради нарочитого подчеркивания этого единства, которое русскими, украинцами и белорусами воспринимается как само собой разумеющееся, совсем не нужно ухищряться рисовать наукообразные схемы о том, как шел народ (белорусы), отыскивая для него некий «перевалочный пункт» в глубинах России (Верхнее Подонье).

Кстати, о движении народа вообще. Не считает ли О. Н. Трубочев (это наш очередной вопрос автору статьи «А кто там идет?»), что сама формулировка – «откуда пришли кривичи, радимичи и т. п.» – является некорректной? Кривичами, радимичами, вятичами сами народы стали в том ареале, где застает их летописец. Если же говорить о каком-то возможном приходе определенных этнических групп, то ими являлись предки кривичей, радимичей, вятичей и т. п., те группировки, в результате взаимодействия, слияния, скрещивания которых и произошло формирование тех этноязыковых единиц, которые в «Повести временных лет» обозначены соответствующими именами.



Интересно, как сообразуется приход радимичей и вятичей «от ляхов», а кривичей с юга, по Днепру, со следующим утверждением О. П. Трубочкина: «...ли с запада, ни с юга нет достаточных оснований предполагать заселение территории Белоруссии»? Впрочем, автор все равно приводит радимичей в Белоруссию с востока, «в обход, по южной дуге с запада на восток вокруг лесов и не менее труднодоступных болот Припятского Полесья». Это самое неубедительное утверждение среди всех остальных в статье об этногенезе белорусов. Автор говорит об этнографическом рубеже на северо-востоке Польши, который якобы был преградой на пути переселенцев «от ляхов» в Белоруссию по прямой линии. Если речь идет о непроходимых лесах, то этот рубеж правильнее назвать ландшафтно-географическим. Но дело в том, что эти леса отнюдь не были необитаемыми. Здесь жили ятвяги [11, с. 130], которые действительно не пропускали возможных переселенцев «от ляхов». Но если это так, то разве к югу, юго-востоку и востоку от припятских болот не существовал такой же этнографический рубеж в земле древлян-полянцев и северян? «Ляшские» предки радимичей и вятичей двигались, скорее всего, по чрезвычайно древнему стратегическому пути «из хазар в угры» (в данном случае — «из угров в хазары»), частью которого была Припять. Не случайно вдоль этого пути цепочкой протянулись географические названия, образованные от этнонима *ляхи*. На территории Белоруссии это самый старый ареал подобных географических имен [12, с. 26—28]. Западные предки радимичей и вятичей, как можно полагать, так и назывались — *ляхами*. Именно так мы читаем летописную строку: «а радимичи и вятичи — от ляхов». Не исключено, что летописец в данном случае имел в виду вообще магистральные пути, связывавшие Западную и Восточную Славю.

К ляхам и вообще к западным славянам (поморским, полабско-прибалтийским) можно было попасть и иными путями: с Припяти по реке Птичь в систему Немана, а также по Западной Двине в Варяжское (Балтийское) море [13, с. 20 и след.; 14, с. 310—311]. Кроме того, с северо-востока на юго-запад Белоруссии и в обратном направлении с давних пор вели сухопутные дороги по водоразделу Днепра и Западной Двины, через район Минска к Понеманью и бассейн Припяти и далее — в «ляшские» пределы. На этих путях от Орши до Бреста в древности возникло много поселений-городов: Борисов, Минск, Несвиж, Новогрудок, Слоним, Волковыск и др. [15, с. 5].

Связи населения Белоруссии и западнославянских земель, в том числе и этнические контакты, в прошлом были очень интенсивными [16, с. 40, 41, 176 и др.; 17, с. 26—27]. Вот небольшой перечень географических названий на территории Белоруссии, по происхождению связанных с этнонимами поморских и других западных славян: *Вагоровщина* (Витебская обл., ср. этноним *вагры*, относившийся к племени, которое жило на правом берегу нижнего течения Эльбы, у морского побережья), *Липяни*, *Липляны* (Минская, Гомельская обл.), *Липляныск* (Гродненская обл.; ср. этноним *липяни*, *липяне*, связанный с племенем, входившим в племенные союзы ятвячей-велятов, самой мощной группировки поморских славян); *Нудичи*

(Гомельская обл., ср. этноним *мудичи* — сербский племенной союз западных славян), *Мильчи*, совр. *Мильчо* (деревня в районе Гомеля, ср. *миличи*, *мильцы* — этноним, относившийся к племени сербского племенного союза), сюда же — *Мильцёи* (Гродненская обл.) и др. Какой комментарий этим фактам может дать О. Н. Трубачев? Отметим попутно, что отмечаемый в летописи приход князя Рогволода в Полоцк, а князя Тура в Туров также, скорее всего, связан с переселением части поморских славян в Белоруссию под натиском крестоносцев, хотя не исключена и иная интерпретация этих фактов [см.: 18, с. 30—33].

Несколько слов о дреговичах. О. Н. Трубачев никак не объясняет формирование этой крупной племенной группировки, все его внимание сосредоточено на «белорусском характере» их имени. Между тем, дреговичское этнополитическое объединение возникло в результате консолидации нескольких этноязыковых групп, и в этом плане оно не было исключением среди других летописных восточнославянских «народцев». Одной из основных составных частей дреговичей являлись потомки древнего племенного союза дулебов, разбитого аварами (см. выше). Впрочем, «дулебская основа» просматривается также в кривичском и радимичском объединениях. Ученые давно обратили внимание на совпадение речных названий *Посожья* и *Верхнего Поднестровья* [19, с. 352—356]. О «дулебской основе» в кривичском племенном союзе, в частности, свидетельствует название реки *Полоты*, на которой кривичи основали город Полоцк. Этому гидрониму отыскиваются южные «параллели», ведущие в направлении дунайского и балканского регионов [20, с. 96—104]. На происхождение части дреговичей из дулебского племенного союза есть указание в археологической литературе [21, с. 93]. Очевидность «дулебской основы» в составе дреговичей заключается, прежде всего, в том, что сами дреговичи назывались... *дулебами*. На племенной границе дреговичей X века, которую на севере можно провести по линии Лунинец — Слуцк — Глуск — Борисов, существуют деревни под названием *Дулёбы* (Березинский район Мнчской обл.) и *Дулёбля* (Кличевский район Могилевской обл.). В XI—XII веках в Верхнем Пономанье фиксируются географические названия *Дулевци* и *Дулевщина* (в настоящее время — деревни Волковыского и Мостовского районов Гродненской обл.), в которых, учитывая характерное для топонимии Белоруссии чередование *б/в*, вполне реально видеть отражение этнонима *дулебы*.

А что же само название *дреговичи*? Использовалось ли оно в X—XI веках? Определенного ответа на этот вопрос нет. По крайней мере, в 907 году, когда князь Олег пошел на Византию с войском от всей поддаластной ему Руси, дреговичи не упоминаются. Вместо них в летописи указаны дулебы, а также радимичи, кривичи, поляне, северяне, вятичи и другие народы. Дулебами несомненно были дреговичи. Наименование *дреговичи* появилось не ранее середины X века. Скорее всего, оно не имело никакой связи с географическим термином *дрыгва* — «болото», «трясина» (сопоставление этнонима с этим словом произошло под пером летописца исключительно по внешнему подобию), а образовалось от антропонима *Драговит*. «Драбвичи».

дреговичи — это потомки Драговита, какого-то князя, который возглавлял определенный центр дреговичей-дулебов и был предводителем той части племенного союза, которая взяла на себя консолидирующую роль среди других племен. Имя *Драговит* (кстати, византийско-греческая запись *Dra-goubita*) как раз указывает на анатропонимическое происхождение этнонима) имеет надежные параллели в западнославянском ареале, что свидетельствует о формировании дреговичей также под влиянием переселенцев на Западной Славии, «ляшских пределов» (вспомним летописное известие о приходе Рогволода и Тура на территорию Белоруссии). Что же касается упоминания дреговичей в «греческих пределах» (см. статью О. Н. Трубачева), то в данном случае действительно «можно только строить догадки о навсегда канувшем в неизвестность эпизоде древней славянской племенной истории».

Можно было ожидать, что после рассмотрения происхождения дреговичей, радимичей и кривичей автор статьи «А кто там идет?» в заключительной части своей публикации покажет, как, где и когда на основе этих территориальных группировок и их диалектов происходило формирование белорусского народа и белорусского языка. Увы, этот вопрос О. Н. Трубачев фактически обошел. Читателю вновь предлагается повторение одной и той же идеи — важнейшие импульсы формирования белорусского языка и этноса шли с востока, из вятичского Поочья. Похоже, что ради этой идеи О. Н. Трубачев готов пожертвовать даже научной пунктуальностью и попросту вводит читателя в заблуждение. По крайней мере, так мы воспринимаем предлагаемый автором анализ географических названий *Белая, Черная, Великая и Малая Русь*.

Вонистину поражает, просто сражает фраза, которая предваряет этот анализ: «...вместить правильный смысл названия *Белая Русь* до сих пор... дано не всем». Действительно, понятие «эквilibристику» мысли самого О. Н. Трубачева «простому смертному» очень непросто: многое приходится принимать на веру, да и авторитет ученого обязывает как будто бы соглашаться, тем более, что иные интерпретации названия *Белая Русь* на самом деле «вмещают его правильный смысл» не совсем убедительно. Но все равно трудно избавиться от навязчивых вопросов, которые буквально напрашиваются сами.

1. Как увязать постулируемое автором освоение предками белорусов своей территории с востока, утверждаемый им же приход кривичей с юга и тот факт, что название *Белая Русь* (понимаемая как «западная») вплоть до середины XIX века относилось только к северо-восточной части современной территории Республики Беларусь, то есть к исконно кривической земле? Об этом факте см.: [22, с. 406–407, 23, с. 70–72].

2. По отношению к какой Руси *Черная Русь* была именно *Черной*, то есть «северной», если она располагалась в западной части современной Белоруссии (бывшие Новогрудский, Слонимский, Волковысский, Белостокский, Сокольский, Гродненский и Лидский уезды) и относительно предполагаемого центра (Верхний Дон, Поочье) была самой западной Русью?

Как согласовать название *Черная Русь* со следующими фактами: в XIX веке в указанном регионе проживала этнографическая группа чернорусов, отличительной чертой которых была одежда исключительно черного цвета [24, с. 13]; в 1283 году с территорией Белостокского воеводства связывалось название *Кирсновия* (*Kirsnowia*), тут же – топонимы и гидронимы типа *Kiersnowo*, *Kiersnówek*, *Kiersnówka* и др., объясняемые из прусского *Kirsnap* – «черный»? Не является ли географическое название *Черная Русь* «переводом» предшествовавшего западнобалтийского (являющегося?) наименования, тем более, что в данном регионе (*Черная Русь*) фиксируется 10 названий населенных пунктов, образованных от этнонима *ятвезь* (*ятвяги*), и 10 названий, образованных от этнонима *дайнова* (*дайнава*), являющегося литовским обозначением ятвягов? [см.: 11, с. 128, 132–134].

3. Могут ли располагаться на «вторично освоенной земле» (так понимает название *Великая Русь* О. Н. Трубачев) «великие» города, в частности «Господин Великий Новгород», которые возникли раньше «малых» городов (Новгородка в Верхнем Пономанье, Новгорода-Северского, Нижнего Новгорода в Ростово-Суздальской земле)? Отметим попутно, что город Владимир на Клязьме никогда «Великим» не именовался. Как объяснить многочисленные названия населенных пунктов на территории Восточной Славии с компонентами *Великий* (-ая, -ое, -ие) и *Малый* (-ая, -ое, -ые) в составе *Великие Литвиновичи* – *Малые Литвиновичи*, *Великая Крушиновка* – *Малая Крушиновка*, *Великий Боков* – *Малый Боков* и др. в Белоруссии? Не будет ли все как раз наоборот: «великое» поселение – первичное, «малое» вторичное? Не подсказывает ли это объяснение, что и название *Русь* распространялось не с юга на север, а в обратном направлении?

Впрочем, можно вполне согласиться с О. Н. Трубачевым в том, что белорусский язык и этнос, как и другие восточнославянские и славянские вообще языки и этносы, «продолжают оставаться недостаточно раскрытым, манящим материалом». Наши замечания и вопросы автору статьи «А кто там идет?», которые, как мы надеемся, будут восприняты с научной заинтересованностью и без всяких «комплексов», лишний раз это подтверждают. Давайте же продолжать поиск!

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Багдановіч М. Збор твораў. Т. 2. Мінск, 1968.
2. Мартос А. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни. Буэнос-Айрес, 1966.
3. Kosman M. Historia Białorusi. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1979.
4. Ермаловіч М. І. Старажытная Беларусь. Мінск, 1990.
5. Ермаловіч М. І. Па слядах аднаго міфа. Мінск, 1991.
6. Агеева Р. А. Страны и народы: Происхождение названий М., 1990.

7. Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови. Київ, 1988.
8. Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. М., 1982.
9. Русанова И. П. Славянские древности VI–VII вв. М., 1976.
10. Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М. – Л., 1966.
11. Рогалев А. Ф. Этнотопонимия Белоруссии. Гомель, 1988.
12. Рогалев А. Ф. Этнонимы *ляхи, мазуры, поляки*. в составе географических названий Белоруссии. – Беларуско-Руска-Польскае супастаўляльнае мовазнаўства (= Матэрыялы Першай усесаюзнай навуковай канферэнцыі. 17–19 ліпеня 1990 г.) Віцебск, 1990.
13. Жучкевич В. А. Дороги и водные пути Белоруссии: Историко-географические очерки. Минск, 1977.
14. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. IX. Верхнее Поднепровье и Белоруссия. СПб., 1905.
15. Жучкевич В. А., Малышев А. Я., Рогозин Н. Е. Города и села Белорусской ССР: Историко-географические очерки. Минск, 1959.
16. Линниченко И. Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV столетия. Ч. 1. Русь и Польша до конца XII века. Киев, 1884.
17. Перхавко В. Б. Западнославянское влияние на раннесредневековую культуру Белоруссии. – Древнерусское государство и славяне. Минск, 1983.
18. Рогалеў А. Ф. Адкуль прыйшоў князь Рагвалод? Да пытання аб поморска-усходнеславянскіх этнічных сувязях. – Поморскі слов'янін. Тернопіль, 1990.
19. Соловьева Г. Ф. К вопросу о приходе радимичей на Русь. – Славяне и Русь. М., 1968.
20. Молina Э. Ф. Очерки по индоевропейскому словообразованию. Ч. 1: Названия гидронимий. Томск, 1973.
21. Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII веках. М., 1982.
22. Зеленский И. Материалы для географии и статистики России. Минская губерния. Ч. 1. СПб., 1864.
23. Рогалев А. Ф. Русь Белая и Черная: к вопросу о восприятии древних географических названий в разные исторические периоды. – Славяне: адзінства і мнагастайнасць (=Тэзісы докладаў і паведамленняў міжнароднай канферэнцыі. 24–27 мая 1990 г.) Минск, 1990.
24. Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Т. 3. Ч. 1. Литовское Полесье. СПб. – М., 1882.

А. Ф. Рогалев,  
кандидат филологических наук

Доцент Гомельского университета имени Ф. Скорины Александр Федорович Рогалев в своей развернутой реплике на мою публикацию в журнале «Русская речь» ставит передо мной ряд вопросов, ответа на которые, по словам А. Ф. Рогалева, ждут и другие читатели в Белоруссии. Свои вопросы белорусский лингвист перемежает с утверждениями, которые иногда тоже требуют моих комментариев, поэтому поделюсь своими соображениями и в тех и в других случаях. В любом лингвоэтногенезе (восточнославянский не исключение) идут бок о бок обе как бы противоположные тенденции — дифференциация и интеграция. Сказать, что в Древней Руси процессов этнолингвистической интеграции не наблюдалось, было бы неверно. Восточнославянское единство, действительно, нельзя отрицать, но его не следует и упрощать. Моя точка зрения состоит в том, чтобы увидеть сложность этого единства (последнему, например, несколько не противоречат изоглосные связи, способные, как известно из лингвистической географии, преодолевать устойчивые языковые границы и объединять сепаратно отдельные восточнославянские языки или даже только группы диалектов с другими диалектами и языками за пределами восточного славянства). Другое дело — вульгарно гетерогенная концепция восточнославянского единства, которую я не приемлю, в частности, за дефектность чисто лингвистической аргументации: это, например, попытки сходным архаизмам западнославянской и севернорусской фонетики приписать общность переживания и происхождения, тогда как общность эту возможно было бы констатировать лишь при наличии сходных (общих) инноваций, чего нет.

В общем понятно то, что А. Ф. Рогалев не оставила равнодушным идея центра восточнославянского языкового пространства, развиваемая мной в том смысле, что центр этот можно было бы искать, грубо говоря, между основными перифериями всего ареала — севернорусской и украинской, а также — к востоку от собственно Белоруссии. Сказанное подкрепляется у меня соображениями относительно инноваций, обычно излучаемых центром, и архаизмов, оседающих на перифериях. Если учесть, что о центре восточнославянского лингвогеографического ареала задумывались мало, тогда как опыт мировой науки подсказывает насущную необходимость в этом, мнение А. Ф. Рогалева о «кабинетности» этой моей «схемы» не совсем справедливо.

Если вдуматься, нет противоречий при этом и в приходе радимичей: они пришли с запада в обход Припяти, повернули на север по течению Днепра и, действительно, вступили в Белоруссию с востока. При этом как бы признается факт их вторичного вовлечения в ареал восточнославянского этно- и лингвообразования. Что здесь неясного в принципе или противоречивого? Повторю: в принципе, ибо детали процесса либо будут нами бесконечно проясняться, либо ускользать от нас. Вторичность нивели

ровки и интеграции первоначально разных диалектов, будь то постепенное распространение акапья у кривичей или другие подобные явления, вполне разделяется мной, как и каждым, надеюсь, лингвистом, который внимательно подходит к оценке затронутых проблем.

Вопрос о славянстве зарубинецкой культуры к югу от Приняти (последние века до н. э. – первые века н. э.) позволю себе здесь обойти, отчасти потому, что не согласен с этой локализацией праславяства, отчасти же – поскольку этот (археологический) вопрос далеко выходит за рамки данной лингвистической дискуссии. В свою очередь, не стоит слишком преувеличивать роль продвижения очевидно небольших готских дружин в дезинтеграции (восточного) славянства, поскольку это, к тому же, сразу упирается в целый ряд дополнительных вопросов собственно славянской хронологии: сомнительность наличия уже тогда (первые века н. э.) и там (на пути гóтов к Северному Причерноморью) восточных славян. Частью по вышепозванным соображениям оставим в стороне и культуру пражской керамики (собственно говоря, моду на слабопрофилированные горшки) у славян. Иными словами, я против прямолинейных заключений от керамики к этногенезу славян вообще.

Признаюсь, несколько голословно выглядит упрек в мой адрес насчет «научообразных схем» продвижения белорусских славян (по моей концепции – с востока на запад). Хотя речь идет, естественно, о временах весьма далеких, и трудно сейчас найти человека, который претендовал бы на то, что он в состоянии судить о тех давних процессах «несхематично», все же схема схеме рознь. Я продолжаю считать, что подошел к проблеме достаточно взвешенно, с учетом, к тому же, некоторых аспектов, ранее остававшихся как бы в тени.

Нет, я не считаю некорректной формулировку прихода радимичей, вятичей, кривичей и т. д. (это уже мой ответ на очередной вопрос), не считаю, замечу, тогда, когда лингвистические факты (в согласии с историческими или же – сами по себе достаточно веско) говорят именно о приходе. Слепо отрицать миграции и утверждать, во что бы то ни стало, автохтонизм, – позиция, силовь и рядом доказывавшая сама свою зыбкость (вспомним былую мощность автохтонистских теорий в польской славянистической науке, а в особенности – тот кризис, в который они зашли сейчас). Это я по поводу утверждения А. Ф. Роголева о том, что «кривичами, радимичами, вятичами сами народы стали в том ареале, где застают их летописец».

Моего оппонента не убедили мои соображения о мотивировке прихода радимичей и вятичей. И все же остается реальным этот почему-то малоизвестный в нашей науке древний этнографический рубеж в Северо-Восточной Польше. Он обнаружил себя именно как этнографический пучок ряда изопримов местной народной культуры, почему и не стоит его переносить произвольно в «ландшафтно-географический». Никто не берется утверждать, что «эти леса» были «необитаемыми». Но обитаемость древних пущ вовсе не означает существования здесь же условий и путей для целых этнических миграций. Этних – более северных (через Пономанье) путей с

запада на восток все же не смогли обнаружить и археологи, даже те из них, которые задавались целью их найти. Да и сам А. Ф. Рогалев вынужден говорить не случайно о «путях от Орши до Бреста», а не наоборот, скажем, — от Бреста до Орши... Следующий, далее, в его тексте перечень западнославянско-белорусских сближений из области ономастики, замечу, во-первых, неоднороден (ср. откровенно корневой характер пары *вагры* — *Вагоровщина*, где достаточно темный со славянской точки зрения локальный западный случай *вагры* и явно поздний хотя бы по своей продуктивной суффиксальной оформленности белорусский пример *Вагоровщина*, скорее, сомнительны как этимологическое тождество), во-вторых, те примеры, которые в общем и не вызывают возражений и принципе (*Липяны*, *Липляны* ~ *липлане*, *Нудичи* в Гомельской обл. и на Крайнем западе славянства), тоже ведь совсем не означают наличия «зеленой улицы» с Запада на Восток в желаемом для автора смысле, ибо попасть в Белоруссию они могли также весьма непрямым путем.

Что касается дреговичей, у меня и в мыслях не было намерений решить все вопросы их позднейшей этнической истории, которые затрагивает А. Ф. Рогалев. Существование на части древнего дреговического ареала деревень *Дулэбы*. *Дулэбня* само по себе ведь объяснимо в первую очередь, вполне возможно, из прозвищ, закрепившихся за какими-то группами на селения. Прозвищный статус «дулебов» можно проследить и шире, в том числе — на апеллативном уровне, справившись, например, в «Словаре русских народных говоров». Не следует только из этого факта делать слишком далеко идущих выводов, в том числе и по самостоятельному вопросу этимологии имени дреговичей, тем более — сбрасывать со счетов факт существования тождественного славянского племенного наименования в окрестностях византийско-греческой Солунии (Фессалоники). Повторять здесь свое объяснение этого очевидного тождества я не буду.

Суть претензий А. Ф. Рогалева мне не всегда понятна, а его требования порой выглядят, мягко выражаясь, нереалистичными, например, — показать, «как, где и когда... происходило формирование белорусского народа и белорусского языка». Я ведь и не обещал дать ответы на все вопросы. Моя задача была привлечь внимание к некоторым новым аспектам и попытаться объяснить то, что эти аспекты объяснить помогают. Утверждение, что «О. Н. Трубачев... попросту вводит читателя в заблуждение», не скрою, вызвало у меня большой интерес. Конечно, А. Ф. Рогалев волен и дальше понимать по-своему номинацию *Белая, Черная, Червоная, Великая* и *Малая Русь*. Для меня это номинация в сути своей ориентационная (подробнее — в журнале), а к почтенному стремлению по-прежнему объяснить *Белую Русь* от белых свиток и светлых очей, Черную же соответственно — от нарочито черных одежд я испытываю только сочувствие. Ареалы и той и другой Руси менялись, это верно, наши сведения, историческая документация этих перемещений, скорее всего, недостаточны, поэтому на нас, лингвистах, лежит задача восполнить эти всегдашние лакуны знаний,



спиралась на доступные нам закономерности, в частности, типологию номинации. С западнобалтийским *kirsna* – «черный, черная» (самостоятельный, в том числе гидронимический, ареал) и Черную Русь тоже не связываю, для меня перспективной представляется оппозиция *Белая – Черная* в т. д. Русь. Само собой, *Великая Русь*, в моих глазах, производна в любом случае от *(Малой) Руси* и уж никак не наоборот. Детали здесь я опускаю, иначе получится слишком длинно. Подходя, тем самым, к концу своих ответов, позволю себе резюмировать: читательское внимание – всегда приятно, даже если порой оно и принимает столь бурные (местами агрессивные) формы. Главное же, что необходимо отметить – непреходящая, несомненная для всех участников спора важность затронутых выше вопросов, а также, возможно, и потребность вновь и вновь возвращаться к ним.

*О. Н. Трубачев,*  
член корреспондент РАН

*Православные традиции: праздники, обычаи, обряды*



**ОБЪЯВЛЕНИЕ  
СИМВОЛА ВЕРЫ,  
МОЛИТВ И ЗАПОВЕДЕЙ \***



*Евангельские заповеди для достижения блаженства.*

или изречения Господа Иисуса Христа о том, какими мы должны быть и как нам нужно вести себя, чтобы угодить Богу и войти в царство небесное.

1. Блаже́ни ищщи́ ду́хомъ: яко́ гдѣхъ есть́ царство́ небесное.
2. Блаже́ни плачу́щи: яко́ ти́и утѣшатся.
3. Блаже́ни крѣтцыи: яко́ ти́и насле́дуютъ зе́млю.
4. Блаже́ни алчу́щи и жа́ждущи правды, яко́ ти́и насытятся.
5. Блаже́ни ми́лостиви: яко́ ти́и поми́ловани бу́дутъ.
6. Блаже́ни чисти́и се́рдцемъ: яко́ ти́и Бога́ узря́тъ.
7. Блаже́ни миро́творцы: яко́ ти́и се́новою́ Бо́жии нареку́тся.
8. Блаже́ни изгна́нии правды́ ради: яко́ гдѣхъ, есть́ царство́ небесное.
9. Блаже́ни есте́, егда́ понѣсять ва́мъ, и иже́дутъ, и реку́тъ всякъ́ золь глаго́ль на ва́и лжущи́и Менѣ́ ради. Радуйте́ся и веселите́ся, яко́ мзда ва́ша мно́га на небеса́хъ.

Господь Иисус Христос предложил в этих изречениях учение о достижении блаженства. Но, будучи кроток и смирен сердцем, Он предложил учение Своё не повелевая, а ублажая тех, которые свободно примут и будут исполнять его. Поэтому в каждом изречении о блаженстве должно ви

\* Начало см.: Русская речь. 1991. №№ 2-6; 1992. №№ 1, 2

ть, во-первых, учение, или заповедь, а во-вторых, ублажение, или обеща-ние награды.

1.

*Блаженни нищии духомъ: яко гѣхъ есть царствие небесное.*

Блаженны нищие духом; ибо их есть царство небесное.

**Блаженни**=блаженны,— счастливы и угодны Богу; **нищии духомъ**— смиренные, которые сознают свое несовершенство и недостойнство пред Богом и не думают о себе, что они лучше других; **яко**=ибо, потому что; **гѣхъ**=их

*Нищими духом* называются люди *смиренные*, которые сознают свое несовершенство и недостойнство пред Богом и никогда не думают о том, что они лучше или святее других. Нищета духовная есть то же, что и *миреномудрие*. Иисус Христос называет таких людей *блаженными*, то есть счастливыми и угодными Богу. Им Он обещает царство небесное.

2.

*Блаженни плачущии: яко гдѣ утѣшатся.*

Блаженны плачущие; ибо они утешатся.

**Плачущии**=те, которые плачут и скорбят о своих грехах; **гдѣ**=они

Здесь называются блаженными те, которые сокрушаются и плачут о своих грехах. Об них сказано, что они *утѣшатся*, то есть будут утешены и обрадованы тем, что Бог, видя их сокрушение и слезы, помилует их и спасет.

3.

*Блаженни кротции: яко тѣи наследятъ землю.*

Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю.

**Кротции**=кроткие, незлобивые; **яко**=ибо, потому что.

Здесь называются блаженными *кроткие*, то есть люди незлобивые и скромные, которые живут со всеми в мире и согласии, и сами не сердятся, и других не сердят. Об них сказано, что они наследуют землю, то есть им и здесь на земле будет хорошо, и в другой жизни ждет их царство небесное.

4.

*Блаженни алчущии и жаждущии правды: яко гдѣ насытятся.*

Блаженны алчущие и жаждущие правды; ибо они насытятся.

**Алчущии**=сильно желающие есть; **жаждущии**=сильно желающие пить; **алчущии и жаждущии правды**=так же сильно желающие правды, как алчущий желает есть, а жаждущий пить.

Здесь названы блаженными *ялчущие* и *жаждущие правды*, то есть сильно желающие ее. Под именем *правды* можно разуметь соблюдение правды во всем, всякую добродетель и вообще праведную и святую жизнь, которая должна быть желательна христианину, как пища и питье, но особенно нужно разуметь благодатное *оправдание* и помилование нас грешных и недостойных рабов Божиих чрез Искупителя нашего Господа Иисуса Христа. Ялчущим и жаждущим правды Господь обещает *насыщение*. Здесь разумеется насыщение духовное, состоящее в мире и спокойствии совести. Полное же насыщение души последует в жизни вечной.

## 3.

*Блаженни милостивии: яко ти помиловани будутъ.*

Блаженны милостивые; ибо они помилованы будут.

Яко=ибо, потому что; *ти*=такие люди, — они.

Здесь называются блаженными *милостивые*, то есть те, которые имеют добрую душу и сострадательны к другим людям, например: помогают другому в нужде, кормят и одевают бедного, заботятся о больном, утешают в горести и печали, научают другого всему хорошему и полезному, подают ему добрый совет, прощают другим обиды и не только не мстят своим врагам, но даже стараются делать им добро и молятся за них Богу.

О милостивых сказано, что они *помилованы будут*. Это значит, что как они сами милостивы к другим, так и Бог будет милостив к ним, не оставит их в нужде в горе, простит им согрешения и удостоит царства небесного.

## 6.

*Блаженни чисти сердцемъ: яко ти Бога узрятъ.*

Блаженны чистые сердцем; ибо они увидят Бога.

Яко *ти* Бога узрять=ибо они увидят Бога.

Здесь названы блаженными *чистые сердцем*, то есть те, у которых нет на душе каких-нибудь дурных мыслей и желаний и которые любят только одно хорошее и доброе, а от всего дурного удаляются. О таких людях сказано, что они *узрятъ Бога*. Это значит, что они будут особенно близки к Богу, так что, наконец, удостоятся быть вместе с Ним и видеть Его лицом к лицу.

## 7.

*Блаженни миротворцы: яко ти сынове Божии нарекутся.*

Блаженны миротворцы; ибо они назовутся сыновьями Божиими.

**Миротворцы**=те, которые сами живут со всеми мирно и согласно и примиряют ссорящихся; **сынове Божии**=сыновьями Божиими; **нарекуются** называются.

Здесь названы блаженными *миротворцы*, то есть такие люди, которые не любят никаких ссор. Сами они стараются со всеми жить мирно и со

ласно; если же замечают, что другие сердятся друг на друга, то они стараются примирить их. О таких людях сказано, что они называются сыновьями, или детьми, Божиими и, следовательно, будут особенно любезны и угодны Богу. (Такого названия миротворцы удостоятся потому, что они делают нечто похожее на то, что делал на земле воплотившийся Сын Божий, Иисус Христос. Как Сам Он был кроток и незлобив, так и других учил жить между собою в мире и согласии; притом Он затем явственно и был на земле, чтобы Своим учением, страданиями и крестною смертью примирить людей с Богом, Которого они прогневали своими грехами.)

## 8.

*Блаженни изгнани правды ради; яко гѣхъ есть царство небесное.*

Блаженны изгнанные за правду; ибо их есть царство небесное.

**Изгнани**—изгнанные, нелюбимые; **правды ради**—за правду, за праведную жизнь; **яко**=ибо, потому что.

Здесь названы блаженными те, которые так любят *правду*, то есть праведную и благочестивую жизнь и добрые дела, что готовы лучше претерпеть за эту правду всякие гонения и бедствия, чем изменить ей. О них сказано, что они удостоятся за это царства небесного.

## 9.

*Блаженни есте, егда поносятъ вамъ, и ижденѹтъ, и рекѹтъ всякъ золь злоба на вы лжуще Мене ради. Радуйтесе и веселитесе, яко мзда ваша многа на небесѣхъ.*

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь; ибо велика ваша награда на небесах.

**Блаженни**=блаженны, счастливы и угодны Богу; **егда поносятъ вамъ**=когда будут поносить вас, то есть ругать; **ижденѹтъ**=будут гнать; **рекѹтъ всякъ золь злоба**=скажут какое бы то ни было злое слово, будут всячески злословить; **на вы**=на вас; **лжуще**=клеветца, несправедливо обвиняя в чем-нибудь. **Мене ради**=за Меня; **яко**=ибо, потому что; **мзда**=награда; **многа**=велика.

Здесь названы блаженными те, которые *за имя Христово* и за истинную *Православную веру* готовы, подобно св. мученикам, претерпеть поношение, гонение, злословие, клевету и всякие другие обиды и неприятности, даже самую смерть. О таких людях сказано, что они должны радоваться и веселиться; потому что если им будет худо на земле, то, взамен этого, их ожидает на небесах большая награда от Господа.

## О богослужении православной Церкви.

Что называется церковным богослужением,

и чем отличается оно от молитвы домашней.

Церковным богослужением называется молитвенное служение Господу Богу от лица всей Церкви, состоящее из ряда служб церковных, совершаемых в определенное для них время, с определенными для них молитвенными словами, песнопениями и священными обрядами. Оно совершается большей частью в храме Божием и притом не иначе, как законно поставленными на то священными лицами и по чину, или порядку, установленному православною Церковью. Этим церковное богослужение отличается от домашней молитвы, с которою каждый из нас отдельно или вместе с другими обращается к Богу и Святым Его по собственному желанию и разумению.

## О храме Божием, внешнем и внутреннем его устройстве и принадлежностях богослужения.

Храмом Божиим, или церковью, называется здание, назначенное и освященное для церковного богослужения.

Храм Божий отличается от других зданий по своему *внешнему* устройству. Большую частью он устраивается или в виде креста, или в виде продолговатого корабля. Такое устройство его означает, что он посвящен распятому за нас на кресте Господу, и что Церковь подобно кораблю помогает нам переплыть море житейское и достигнуть тихой пристани в царстве небесном. Если же храм устраивается в виде круга, то этим напоминает вечность Церкви Христовой. На самом верху храма бывает купол, а на куполе крест.

Храм Божий имеет особое устройство и *внутри*. Он состоит из *трех* частей. Первая часть от входа в храм называется *притвором*. Тут в древности стояли оградительные, так назывались те, которые готовились к крещению чрез оглашение, то есть чрез устное научение их вере христианской. Здесь также находились кающиеся, которые за грехи были лишены причащения св. Таин впродолжение до полного раскаяния.— Вторая часть составляет *средину* храма и служит местом для молитвы верующих во время богослужения. Третья часть храма называется *алтарем* и служит местом для совершающих богослужение.

Главный вход во храм почти всегда бывает с запада. Алтарь же, куда обращены взоры молящихся, помещается на восток. (Это делается как бы в знак того, что христиане от глыбы нечестия стремятся к свету истинны

Восток служит символом света, добра, истины, а запад — символом тьмы, зла и заблуждений.)

Иногда в одном храме бывает несколько алтарей, освященных в память того или другого священного события или в честь кого-либо из Святых. Тогда все алтари, кроме главного, называются *придельными*. Алтарь устроен выше середины храма для того, чтобы всем было слышнее богослужение и виднее, что делается в алтаре.

Посредине алтаря находится *св. престол*, на котором невидимо присутствует Господь, как Царь и Владыка Церкви. Это есть четырехугольный стол, украшенный двумя одеждами: *нижнюю*, — белую, из полотна, и *верхнюю*, — из более дорогой материи, большую часть из парчи. На престоле находится *антиминс*, *евангелие*, *крест* и *дарохранительница*, или, иначе, ковчег, в котором хранятся запасные святые Дары для причащения больных. (В случае причащения их, употребляется при этом *даропосица*.) «Антиминсом» называется освященный архиереем шелковый плат (платок) с изображением на нем положения Иисуса Христа во гроб и с зашитой на другой его стороне частицею мощей какого-либо Святого. На антиминсе совершается во время обедни освящение Даров. — За престолом бывает семисвечник, или подсвечник с семью лампадами, а за ним запрестольный крест.

Налево от престола, с северной части алтаря, стоит *жертвенник*. Это есть стол, покрытый, подобно престолу, со всех сторон одеждою. На нем находятся: *чаша*, или потир, *дискос*, или круглое блюдо на подставке, *звездица*, состоящая из двух металлических небольших дуг, соединенных посредине винтом так, что их можно и вместе сложить и раздвинуть крестообразно, *ложца*, или ложечка, употребляемая для причащения верующих, *копие* для вынимания частиц из просфор и *зубка* для вытирания сосудов.

С правой стороны алтаря устраивается *ризница*. Так называется помещение, где хранятся ризы, или священные одежды, употребляемые при богослужении, а также церковные сосуды и книги, по которым совершается богослужение.

Алтарь отделяется от середины храма особенною перегородкою, которая установлена иконами и называется *иконостасом*. В иконостасе трое дверей, из которых средние называются *царскими вратами*, потому что чрез них во св. Дарах проходит Сам Царь небесный, Иисус Христос. За царскими вратами висит занеса, которая, смотря на ходу богослужения, отдергивается или задергивается. Двери направо от царских называются *южными*, а налево — *северными*. То алтарное возвышение, которое находится в средней части храма пред самым иконостасом, называется *солею*. По обеим сторонам ее находятся *клиросы*, то есть места для певцов, а подле клиросов обыкновенно ставятся хоругви. (Они носятся во время крестных ходов и представляют собою как бы знамена Церкви, под которыми христиане, как воины царства Христова, идут на борьбу с врагами правды и любви.) Средняя солен, прямо против царских врат, иногда делается выше и называется *амвоном*, то есть восхождением. Отсюда верующим преподает

ся святое причастие; здесь же диаконом читается Евангелие и произносятся положенные молитвословия, или ектении.

Иконы размещаются в иконостасе так: на царских вратах бывает изображение Благовещения и четырех евангелистов, а выше царских врат — изображение Тайной вечери; направо от царских врат всегда бывает икона Спасителя, а подле нее храмовая икона, то есть изображение того события или Святого, в память и честь которых освящен храм, а налево от царских врат икона Божией Матери. На самом верху иконостаса бывает крест с изображением на нем распятого Господа Иисуса Христа. На стенах храма также бывают св. иконы.

Над храмом или рядом с ним с западной стороны устраивается колокольня, или звонница, где находятся колокола. Пред наступлением богослужения извещают всех о том звоном в колокол, и этот звон называется *благовестом*, так как подает благоую и радостную весть о том, что скоро будет богослужение; после этого троекратно звонят вдруг во все колокола, давая тем знать, что к богослужению все готово, и оно тотчас же начнется.

### *Лица, совершающие богослужение.*

Богослужение в храме Божиим совершается священнослужителями, особо для этого избранными и посвященными. Таковы: *епископ*, *священник* и *диакон*. При посвящении их совершается над ними таинство Священства, причем диакон получает меньшую степень благодати, священники большую, а епископ — самую высшую.

«Диакон» слово греческое и значит: служитель. Он не имеет права один, без священника или епископа, совершать богослужение, а только служит им при совершении его. Некоторые диаконы удостоиваются звания протодиакона. Монах, получивший сан диакона, называется перодиаконом, а старший перодиакон — архидиаконом.

Священник, иначе называемый иереем и пресвитером, совершает с благословения епископа все таинства и церковные службы, кроме тех, какие положено совершать только епископу. Если священник в то же время и монах, то тогда он называется иеромонахом. Более достойным и заслуженным священникам дается сан протоиерея, то есть главного иерея; иеромонахам, по назначении их настоятелями монастырей, а иногда и без этого, как почетное отличие, дается сан игумена, или же сан архимандрита. Особенно достойные из архимандритов избираются Святейшим Синодом в епископы.

Епископы называются иначе архиереями, то есть начальниками иереев. Им, сверх обычного богослужения, принадлежит право посвящать в священнические должности, освящать миро и антиминсы. Более заслуженные из архиереев называются архиепископами, а столичные архиереи называются митрополитами, так как столица именуется по-гречески митрополией. Епископы же городов Иерусалима, Константинополя, или Царьграда, а также



Александрии и Антиохии с древности называются патриархами. Область, на которую простирается власть епископов, называется епархией. В помощь епископу иногда дается другой епископ, который в таком случае называется *викарием*, то есть заместителем. Все епископы Русской Церкви находятся в зависимости от Святейшего Синода, или собора епископов. Святейший Синод имеет права патриархов. От него зависит избрание и назначение епископов и разрешение строить храмы. Он заведует духовно-учебными заведениями и имеет главный надзор за всеми делами веры и благосостояния православной Русской Церкви.

Участвующие в отправлении богослужения *псаломщики* принадлежат к числу *церковнослужителей* и поставляются на свою должность не чрез саннство Священства, а только по архиерейскому на то благословению. Они обязаны читать и петь как на клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан. К церковнослужителям относятся также иподиаконы, участвующие только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священные одежды, держат светильники и подают им архиерею для осебления ими молящихся.

### Священные облачения лиц, совершающих богослужение.

Во время богослужения лица, совершающие его, облачаются в особые священные одежды. Эти одежды делаются или из парчи, или из другой, пригодной для этого, материи. В отличие от обыкновенных одежд, они украшаются крестами. Одежды *диакона*: стихарь, орарь и поручи. *Стихарь* есть длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и с широкими рукавами. Эта одежда полагается также для иподиаконов, а псаломщикам она дается как награда. *Орарь* есть длинная широкая лента из той же материи, как и стихарь, и носится диаконом на левом плече сверх стихаря. Подобною лентою иподиаконы при служении препоясуются крестообразно через плечо. *Поручи*, или нарукавники, прикрепляются к руке шнурками и употребляются для большего удобства при богослужении. Одежды *священника*: подризник, епитрахиль, пояс, поручи и риза, или фелюль. *Подризник* отличается от стихаря только тем, что делается большею частью из белой тонкой материи, и рукава у него узкие со шнурками, которыми они прикрепляются к руке. Белый цвет подризника напоминает священнику, чтобы он всегда имел чистую душу и проводил беспорочную жизнь. *Епитрахиль* надевается священником на шею сверх подризника. Она есть тот же диаконский орарь, но только сложенный вдвое так, что, огибая шеею, спускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или чем-нибудь соединены между собою. Эта одежда напоминает, что священник, сравнительно с диаконом, получил от Бога вдвое большую благодать, но зато больше лежит на нем и обязанностей. Без этой одежды священник не может совершать ни одной службы, как диакон - без ораря. В награду за усердную службу священник получает право носить рядом

с епитрахилью *набедренник*. Он носится на правом бедре и своим верхним краем примыкает к поясу, который священник надевает на себя сверх подризника и епитрахили. Более заслуженные протоиереи получают в награду *палицу*, которая у архиереев и архимандритов служит необходимой принадлежностью их облачения. При этом набедренник надевается на левую сторону, а палица на правую так, что она одним своим углом примыкает к поясу. Набедренник и палица означают духовный меч, то есть слово Божие, которым должны быть вооружены духовные лица для борьбы с неверием и нечестием. *Фелонь*, или *риза*, надевается священником сверх других одежд. Одежда эта длинная, широкая, без рукавов, с одним отверстием для головы, а чтобы не стеснять рук, ее делают спереди более короткою. Сверх фелони на груди у священника находится наперсный крест — или серебряный восьмиконечный, возложенный на него при посвящении, или четырехконечный золотой, полученный в награду от Св. Синода. Наперсный крест он носит и вне церкви сверх рясы, которую надевает на подрясник, эту его обычную домашнюю одежду.

Епископы, или архиереи, возлагают на себя все священнические облачения, начиная с подризника и кончая палицей и золотым наперсным крестом, но вместо фелони, или ризы, надевают *саккос*, похожий на укороченный стихарь с более малыми рукавами. Подобную одежду носили только цари и важнейшие лица в греческом государстве. Сверх же саккоса архиереи еще носят *омофор*, что значит: наплечник. Это есть длинный широкий плат, украшенный крестами. Он возлагается на плечи архиерея так, что один конец его спускается спереди, а другой сзади. Без омофора архиереи не могут совершать никакой службы. Одежда эта напоминает ему, что он должен заботиться о спасении заблуждающихся подобно милосердому па-



стихарь



палица



митра

пастырю, который отыскивает заблудившуюся овцу и несет ее домой на своих плечах. На груди поверх саккоса, кроме креста, имеется у него *панагия*, что значит *всесвятая*. Это есть небольшой круглый образок Спасителя или Божией Матери, обыкновенно богато украшенный. Панагия носится архиереями и вне церкви поверх рясы. При служении они употребляют *жезл*, или *абсох*, как знак пастырской власти. Он дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей. - Головное украшение архиереев, а равно и архимандритов, называется *митрой*. Священникам дается в награду также головное украшение, которым бывает бархатная фиолетовая *скуфья*, или же *камиллавка*. Более заслуженным протоиереям дается иногда даже и *митра*.

*Продолжение следует*



## Старый Валаам и его окрестности

Л. В. Михайлова

Затерявшийся среди необъятных просторов Ладоги, *Валаам* был издавна известен людям. В дохристианские времена, как и многие другие острова на Ладоге, он был местом поклонения языческим богам.

Отсутствие на *Валааме* коренного населения, разорение монастыря шведами, в результате чего исчезли монастырские архивы, не дает нам возможности узнать историю происхождения и трактования названия острова доподлинно. В топонимической литературе существует несколько версий. Мы предлагаем одну из них.

Первые упоминания названия острова встречаются в русских текстах XVI века, написанных монахами Валаамского монастыря («Беседа валамских чудотворцев»), где остров называется *Валам*, а монастырь *Валамский*.

В середине XIX – начале XX вв. в письменных источниках появляется уже другое написание: *Валаам*. Его можно встретить как в монастырских изданиях («Устав Валаамского монастыря»), так и в служебной переписке монастыря. Причем в конце XIX века в одном и том же тексте встречаются старое и новое написание названия острова.

В XV–XVII вв. шведы неоднократно нападали на остров, что отмечено в шведских источниках этого периода, где остров называется *Valamo*. А после подписания Столбовского договора (1617) острова Валаамского архипелага почти на сто лет отошли к Швеции. В переписке монастыря на шведском языке в XIX веке остров записан так: *Walamo*.

В 30-х годах XX века в финских текстах встречается двойное написание названия острова: *Valamo*, *Walamo*. В финской энциклопедии (*Uusi Tietosanakirja*. Helsinki. 1966) упоминается, что остров по-фински называется *Valamo*, а по-карельски *Valmoi*.

Довольно популярной сегодня является версия, впервые появившаяся в «Путеводителе по Финляндии» (СПб., 1862 г.), о том, что топоним *Валамо* происходит от финского слова *варам* – «горная земля» или шведского *Валла-мо* – «высота». Однако финское *vuorimaa* – «горная страна, земля» могло передаваться в русском языке скорее как *вуорима*, чем *варам*. Есть сомнения и относительно шведского языка, т. к. «высота» по-шведски – *höjd*. Эта версия неубедительна ни с точки зрения формы, ни по семантике положенного в основу названия географического признака высоты, т. к. в северной части Ладоги и в архипелаге *Валаам* не самый высокий и даже не единственный высокий остров.

В книге «Валаамский монастырь» (СПб., 1864), написанной его монахами, содержится географический очерк острова, есть и исторические сведения о монастыре. Монахи утверждали, что топоним *Валаам* связан с именем языческого бога *Велеса*. Объясняли, что *Велес*, *Волос* и *Ваал* – имена одного и того же дохристианского бога, что это однокоренные слова: «Так Валамо будет значить земля Велеса, т. е. место, Велесу посвященное».

Но *Велес* (*Волос*) и *Ваал* – это слова с разными корнями. Кроме того, *Велес* (*Волос*) – это славянский языческий бог, покровитель скотоводства. А *Ваал* почитался как языческий бог плодородия и жизни, но не у славян, а среди части древних евреев и финикийцев. Его представляли умирающим и воскресающим богом. Имя *Ваал* означает «владыка, хозяин». Вполне вероятно, что *Валаам* – это место, посвященное языческому богу земледелия *Ваалу*.

Славянам и другим народам имя *Ваала* было известно из Библии, в которой показана борьба между Господом Богом и языческим богом *Ваалом*: «Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам» (Книга судей Израилевых, 2, 13). Энциклопедия «Мифы народов мира» дает такую справку: «Ваал – восходящая к раннему средневековью грецизированная передача библейского „Баал“, возникшего из первоначального „Балу“. В этой форме имя Балу вошло в европейскую литературу».

В различных источниках, описывающих дохристианский период *Валаамы*, встречается название острова «Горы», где «горы» – это место поклонения языческим богам, языческое капище, «горы Валаама». Очевидно, на острове совершали жертвоприношения различным языческим богам, поэтому капище называлось по имени бога *Ваала*, также назывался и весь остров.

После основания на острове монастыря происходит изменение топонима, слово «горы» постепенно исчезает из названия, а вторая часть, *Валаам* *Валаам* остается как географическое название острова.

\* \* \*

На Валааме и других островах Ладожского озера сохранились и дошли до наших дней топонимы, связанные с различными дохристианскими обрядами. Так, в восточную группу островов Валаамского архипелага входит остров *Лембос*, известный как *Лемписари* (*Ильинский*). В переводе с фин

ского языка Lempiisaari – «остров Любви». *Лемпи* – это языческое божество любви. Не исключена и другая версия. Возможно, название острова произошло от карельского слова *лембо* (фин. – lempo), что означает – «черт, нечистая сила, злой дух». В конце XIX века, после устройства здесь скита, остров был переименован в *Ильинский*, хотя до наших дней сохранилось и является популярным первоначальное название острова – *Лембос*.

В южной части Валаама расположено озеро, имеющее несколько названий: *Крестовое*, *Дивное*, *Хирмулампи* (Hirmulampi – фин.). *Дивное* – это современное название, дано по аналогии с названием бухты *Дивная* и острова, расположенных недалеко от озера. Слово *Хирмулампи* сложное, состоит из двух финских слов: *hirmu* и *lampi*, где *hirmu* – «ужас, страх», а *lampi* – «пруд, лесное озеро», следовательно, название можно перевести как «озеро ужаса» или «страшное озеро». В XIX веке на берегу озера был поставлен деревянный крест как символ православия и дано название *Крестовое*.

К юго-востоку от озера *Крестовое* возвышается гора *Змеиная* (фин. Käätmevuori, käätme – «змея, змий»), с XIX века известная под названием «гора Кармил». Позднее название горы было заимствовано валаамскими монахами, вероятно, из Библии. *Кармил*, по Библии, это место, где устраивались жертвенники *Ваалу*: «...теперь пошли и собери ко мне всего Израили на гору Кармил, и четыреста пятьдесят пророков Вааловых» (3-я Книга Царств). Очевидно, на Валааме, на горе *Змеиной*, тоже были «высоты Вааловы», т. е. совершались языческие обряды, что еще раз подтверждает происхождение названия острова Валаам от имени языческого бога *Ваала*.

В топонимии островов Валаамского архипелага нашли отражение почти все в древней Карелии звери, птицы, деревья: *Лосиный берег* – северное побережье острова *Валаам*; мыс *Змеиный* – к востоку от залива *Угревый*; острова *Налимий* и *Сиг*; озеро *Щучье*, переименованное валаамскими монахами в озеро *Никоновское*.

В юго-западной части *Валаама* находится озеро *Лецево* (*Лецевое*), название которого объясняется тем, что в июне в озере нерестится лец. Топоним *Олений* (остров и мыс) широко распространен на территории Карелии и связан с древним обрядом погребения.

В дохристианский период особое место занимал культ камней, которые своими силуэтами напоминали животных и птиц; а отсюда, вероятно, и названия: остров *Ханхипаси* (*Гангена*, другое название – *Малый*) hanhi – по-фински «гусь», raasi – «камень, скала», т. е. «гусь-камень» или «гусь-скала».

В восточной части Валаама, в районе *Черный Нос*, находится гора, *Черный Нос*, которую также называют *Лысая гора*.

В дохристианские времена на *Лысых горах* устанавливались идолы, жертвенники, совершались ритуальные обряды. Верхняя часть горы специально расчищалась. Возможно, поэтому их и называли «лысыми». На безлесой вершине *Лысой горы* на Валааме, как символ новой веры монахами установлен большой деревянный крест под навесом, который был хорошо виден издали с Ладоги и служил также маяком для рыбаков.

Широкое распространение среди славян имел топоним *Девичья*. На Валааме мы встречаем дважды это название. Так, южной оконечностью Валаама является полуостров *Девичий*, получивший позднее финское название *Найсниеми*, т. е. «женский мыс».

В группу *Емельяновых* островов, у юго-восточной оконечности Валаама, входит остров, имеющий несколько названий: *Девичий*, *Нейтоненсари* (остров *Любви* – современное название), остров *Дивный*. Последнее название было дано острову монахами Валаамского монастыря еще в XIX веке и встречается в художественной литературе этого периода.

Остров *Дивный* резко отличается от других островов этой группы. Судя по первоначальному названию острова – *Девичий*, именно здесь совершался древний и общий для славян языческий обряд поклонения женскому божеству. С обрядом поклонения «деве» были связаны мечты людей о плодородии и благополучии. Как памятник прошлому стоит здесь и сегодня поклонный крест, поставленный валаамскими монахами.

С приходом на Валаам монашеского населения многие географические объекты получили новые названия: гора *Елеон*, *Сион*, *Фавор*, *Мертвое море*, *река Иордан*, *Гефсиманский сад*. Они были перенесены на Валаам с карты Палестины и связаны с библейскими легендами. А в начале XX века в районе *Большой Никоновской бухты*, на юго-западе острова, был построен Новонерусалимский храм. Именно в Палестине имеется Иерусалимский храм, недалеко от которого расположены поток Кедрон, река Иордан, Гефсиманский сад.

Многие топонимы на Валааме связаны с именами монахов-отшельников, живших в пещерах, лесах, на уединенных островах: *Антониевская дорога*, *Витальевское озеро*, гора *Феодоровская*, *Германово поле*, *Никоновский мыс*, *Порфирьевский остров*.

В восточную группу островов Валаамского архипелага входит остров *Святой*, известный по монастырским книгам прошлого века как *Старый Валаам*. На этом острове с 1474 года жил валаамский монах Александр, основавший впоследствии Троицкий монастырь на реке Свирь, за что и получил имя Александра Свирского. Он пришел на Валаам в возрасте 25 лет, где под сенью деревьев, в сырой и мрачной каменной пещере, проводил свои долгие ночи в отшельничестве до 1485 года.

В монастыре считали Александра Свирского валаамским святым, поэтому и остров получил название *Святой*.

Отразилась в валаамских топонимах и прозаическая хозяйственная деятельность монастыря. В восточной части острова монахи добывали песок, этот район известен под названием *Карьер*. Был на Валааме и *Кирпичный карьер*, там добывали глину и был построен кирпичный завод. К северу от Валаама находится остров, названный монахами *Бредневый* (от *бредень* – сеть для ловли рыбы, невод). Около острова *Бредневый* был у монахов садок для загона рыбы, из которого они ловили ее бреднем.

В состав Валаамского архипелага входят *Байевые* острова, расположенные к востоку от Валаама. Это группа из девяти островов, самый большой

в ней – *Байонной* (второе название – Kalastussaari, фин. kalastus – рыбная ловля, рыболовство). В прошлом веке здесь было небольшое поселение рыбаков, для которых были построены деревянная часовня святого Пророка Елисея, дома, баня. Название острова *Байенный*, *Байонной* произошло от русского слова *баня*, которое произносилось как «байня», отсюда: *байенный*, *байонной*. На острове была баня для рыбаков, на других островах ее не было, поэтому остров и называли *Байенный*.

На Валаама имеется несколько смежных географических объектов с названием *Симняковский*: залив, озеро, остров, поле и мыс. Финские названия этих же объектов: Simnjakovskinlahti, Simnjakovskinpelto, Simnjakovskinnie mi. Simnjak – это транслитерированное на финский язык русское слово *зимник*, *зимняк*, которое на олонецком диалекте обозначает юго-восток или ветер того же направления. А *зимняковый* – к *зимняку* относящийся.

Современное население Валаама, появившееся на острове в послевоенное время, незнакомо с большинством географических названий острова. Оно пользуется в обиходе своими названиями, т. е. микропонимами. Территория острова разделяется на различные районы: *Белый* (бывший *скит Всех Святых*), *Желтый* (бывший *Гефсиманский скит*), *Красный* (бывший *Воскресенский скит*). Незнание истории острова, его топонимии привело к тому, что в 70-е годы, в связи с развитием туризма на острове, эти названия проникли в современную литературу, различные путеводители по Валаама. Так, *Красный мыс* стали называть *Скалистый берег*, *залив Осочный* – *бухта Дивная* или *Шаралахтинская* (фин. Saralahti – «осочная бухта») и т. п.

Восстанавливая давно забытые названия Валаама, мы собираем крупицы истории не только удивительного острова, но и открываем новое в нашем прошлом.

*Петроляков*





## Балалайка в народной поэзии

В. К. Галахов,

кандидат искусствоведения

Балалайка вошла в фольклор на рубеже XVIII века, когда стала распространенным инструментом в России. С 70-х годов XVIII века, преодолевая завесу презрения и насмешек, она попадает на страницы произведений русских поэтов: В. И. Майкова, А. О. Аблесимова, Г. Р. Державина. А с конца XIX века балалайка стала восприниматься не только как музыкальный инструмент, но и как символ русской нации, России.

Балалайкой хорошо владели в основном скоморохи и пастухи, так как они не имели своего хозяйства и не были обременены заботами по дому и потому могли совершенствоваться в игре. «Всяк играет, да не как скоморох» — гласит известная русская поговорка. А о талантливом балалаечнике обычно говорят: «Наш Семен с балалаечкой рожден». Крестьянам же было не до музыки. В народе игра на инструменте воспринималась как пустое времяпрепровождение, а часто и напрямую осуждалось: «Балалайка не играет, а разоряет»; «Балалаечка-гудок, разорила весь домик» (Шейн П. Русские народные песни).

Или вот еще: «Орать -- не в балалайку играть», где под «орать» подразумевается пахать землю плугом (оралом). У Даля в его Словаре приводится и другая поговорка, близкая к этой: «Когда орать, так не играть». Но в минуты отдыха крестьяне любили слушать балалайку, петь под нее, поэтому часто приобретали инструмент, не считаясь с расходами: «Бог даст батюшка дворик продаст, а балалаечку купит» (Голейзовский К. Я. Образы русской народной хореографии).

Популярность балалайки была столь велика, что кроме припевок, сочинялись и загадки:

В лесу выросло, из лесу вынесли,  
На руках плачет, а на полу скачут.

В лесу-то тля-тля; дома-то ляп-ляп,  
На колени возьмешь -- заплачет.

*Даль. Пословицы*

Из дерева вырубается, а в руках плачет.  
В лесу вырос, на стене вывес.  
На руках плачет, кто слушает -- скачет.

*Садовников. Загадки русского народа*

Балалайка вошла и в образы детских считалок (жеребьевок), служивших детям для выбора водящего в шре:

Цыңцы-брыңцы, балалайка,  
Цыңцы-брыңцы, заиграй-ка,  
Цыңцы-брыңцы, не хочу,  
Цыңцы-брыңцы, спать хочу!

В этом «коротеньком рифмованном стишке» начало каждой новой строки начинается со считалочной пары слов «цыңцы-брыңцы», имитирующей звучание балалайки. Слово «брыңцы» напрямую можно связать с *бряцать*, *ударять*, *бренчать* по струнам. Считалочные слова, «корнями своими соприкасаясь с древнейшим народным бытом и ритуалами», в которых, по мнению С. Г. Николаева (См.: Русская речь. 1988. № 1), «должна присутствовать какая-то магия, колдовство», всегда выносятся в считалках в начало стишка, а смысловой текст отводится на второй план. В этой считалке, как впрочем и в загадках, балалайка тоже представляется живой.

Образы балалайки вошли и в колыбельные песни:

Качь, качь, привезет отец калач.  
Матери сайку, сыну балалайку.  
А баю, баю прибаюкиваю...  
Стану я качати,  
В балалаечку играти...

*Русские народные песни*

Но чаще всего балалайка упоминается в частушках, она способствовала кристаллизации частушечной мелодии, закреплению песенной традиции как основа, от которой шли различные варианты.

Без балалайки, пожалуй, трудно представить себе частушку. Исполнение последней под аккомпанемент «трехструнного бубенца», так любовно назвал поэт И. Кобзев балалайку, всегда было одной из наиболее распространенных форм народного музицирования.

Трень-брень – балалайка.  
 Души моей хозяйка.  
 Поиграй повеселее  
 В балалайку, дорогой!  
 Я с великим настроеньем  
 Спою перед тобой.  
 Ой, пойдем, пойдем попляшем,  
 Милая товарочка.  
 Хотя улица не наша,  
 Наша балалаечка.

*Частушки Черноземья*

Балалаечники пользовались особым расположением. Они не участвовали в складчине на вечеринку. Пропуском им служил инструмент и добросовестная игра до третьих петухов. За хорошую игру девушки в конце танца или пляски целовали балалаечника. В частности, такой обычай долго бытовал в деревнях Тверской области, вплоть до середины 50-х годов нашего столетия. В других местах России, как видно из частушки, музыканта одаривали платочками:

Балалаечник один,  
 Соберемся девок много,  
 По платочку дадим.

*Русская частушка*

В них воспета пляска, песня и общее веселье под балалайку. Из их текстов узнаем, что с балалайкой ходили на свидание, ею завлекали девушек.

Сердце девичье томится  
 К балалаечке стремится!  
 Струны звонкие зальются  
 В моем сердце отзовутся.  
 Ухажор Ванька,  
 На меня глянь-ка,  
 Не ты меня завлекал –  
 Твоя балалайка.

*Русская частушка*

Хоть ругайте,  
 Не ругайте.

Все равно мене любой,  
Который носит балалаечку  
На ленте голубой.

Как за речкою,  
За Дунайкою,  
Меня милый провожал  
С балалайкою.

Известны названия балалайки типа *балабайка*, *балабойка*, *балаболька*, *брунька*. Но чаще всего в песнях встречается ласковое *балалаечка*, с пояснительными словами *волыночка*, *играечка*, *струна* и т. п.

Балалаечка-волыночка разбить тебя хотят!  
В балалаечку-играечку играть не перестал...  
Балалаечка-струна, сыграй, спюю про вертуна...  
Он в певунью-говоруню просто-напросто влюблен.

Частушки

Поэт В. Ф. Боков, чьи частушки популярны в народе, величает балалайку еще «засухой», «заснобой», «отрадой», «трехструнной тревогой», а иногда и просто «ящичком»:

Балалаечка-отрада,  
Возьму в руки, сердце радо...

Балалаечка-засноба,  
Полюбил тебя до гроба...

Балалаечка-засуха,  
Соловьём влетаешь в ухо...

В частушках отмечается размер, цвет, фактура дерева, форма и другие особенности балалайки:

Балалаечка мала —  
Мала, не переделаешь.

Балалайка, балалайка,  
Балалайка белая!

Балалайка — семь досок,  
Очень звонкий голосок.  
Сердце в песню, ноги в пляс,  
Вот мы, тут, знайте нас.

Зайграй-ко, балалайка,  
Балалайка, три струны!

Балалаечка звенит  
Во все четыре струночки.

Демин Д. И.

Балалайка, струны медные  
Темнеют от песку...

Балалаечка играет,  
Струны серебреются.

Конечно, вряд ли из серебра делались струны, скорее это указывает на красоту звучания балалайки.

Воспета в частушках и тембровая окраска звука. Высокое звучание инструмента ассоциируется у частушечников со звонкостью, серебристостью. Слабое натяжение струн, создающее низкое звучание, сравнивается с гудением, стоном. Потому балалайка в частушках либо гудит, либо стонет и звенит:

Вот она и заиграла,  
Только струночки гудят.

*Частушки Пензенской области*

Балалаечка стонет,  
Но доказывает:  
Наши дробечки далеко --  
Сразу сказывает.

*Соколов*

Балалаечка играет,  
Балалаечка звенит.

*Частушки Черноземья*

Преимущество балалайки даже и перед гармонью не раз отмечали во время фольклорных записей народные музыканты. Они противопоставляли нежное звучание балалайки «рвякающей», «кричащей» гармошке. Исследователь русских гармоней А. М. Мирек в беседе о народных инструментах подметил верно: «Балалайка успокаивает, а гармонь раздражает».

Что мне, что мне гармонисты,  
Люблю струны серебристы.

*Мордасова М*

*Ср.*

*Писатель и фольклор***Бурый волк и проказница-белка**

Д. Н. Медриш,

доктор филологических наук

1

Многие пушкинские строки, и прежде всего его сказки, настолько нам знакомы, что кажутся совсем обычными. Но, как заметил однажды А. Т. Твардовский, если Пушкин приходит к нам с детства, то мы по-настоящему приходим к нему лишь с годами. И тогда за такими привычными словами встают родной быт, отечественная культура, поэтическое мировосприятие, уходящее корнями в глубь веков.

1.

В темнице там царевна тужит,  
А бурый волк ей верно служит (...)

Это строки из пролога к поэме «Руслан и Людмила». Одновременно с прологом Пушкин начал писать сказку о Иване-царевиче, но работа оборвалась на третьей строке:

Иван-царевич по лесам,  
И по полям, и по горам  
За бурым волком раз гонялся.

И здесь волк не *серый* (как в известной народной сказке о Иване-царевиче и сером волке), а *бурый*. В свое время С. А. Рейсер предположил: это потому, что в пушкинских местах, на Псковщине, «бурый волк» — обычное словосочетание. Указан, таким образом, источник пушкинского словоупотребления. Вероятно, такое объяснение справедливо. Оно было бы и достаточным, если бы речь шла не о Пушкине. Случайно речевые реалии в его сказки не забредали. В прологе говорится все же о сказочном волке, и *поэт* вряд ли назвал бы волка бурым, если не ощутил бы в этом определении, пусть и опирающемся на практику современной ему разговорной речи, еще и нечто необычное, загадочное, поэтическое. Видимо, то ли об этом слове Пушкин что-то знал (а познания его были обширны), то ли о чем-то догадывался...

*Бурый* — значит темно-серый, темновато-коричневый с сероватым или красноватым оттенком, то есть, по определению В. И. Даля, «искрасна черноватый»; именно такой окраски волки преобладают в азиатском регионе. М. Фасмер отмечает в своем словаре, что слово *бурый*, как и другие обозначения мастей (например, *карий*, *буланый*), заимствовано из тюркского (уточним: *карий* — от «кара» — черный; *буланый* — от татарского «болан» — олень). Одно из доказательств такого заимствования — отсутствие слова *бурый* у тех западнославянских народов, которые в древности не вступали в прямые контакты с тюрками.

В ряде тюркских языков (татарском, киргизском, узбекском и др.) *буры* (в различных вариантах) значит — «волк». Еще с доисламских времен слово это получило мифологическую окраску. Так, «по-видимому, с тотемистическими представлениями связано и то, что в названии некоторых киргизских родов входит слово „волк“ (*беру*)», — пишет исследователь (Баялиева Т. Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов. Фрунзе, 1972. С. 23). Существует предание о происхождении ряда монгольских и тюркских племен от *буры* — волка. Волк, следовательно, тотем, покровитель, чудесный помощник. (Следует ли удивляться, что у Гоголя в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» свинья, похитившая из суда прошение Ивана Никифоровича и тем самым сыгравшая роль «антипомощника», — бурая?) Такая роль волка в народной памяти вполне объяснима: волк — «это впервые прирученная собака, приручение произошло еще в конце палеолита, а в мезолите собака стала помощницей охотника» (Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981. С. 132). Следовательно, исконный смысл словосочетания *бурый волк* — «волчий волк» (совсем в духе народно-поэтического *светлая светлица* или *темная темница*). Ибо названия животным часто даются по цвету шерсти. На языке урду, например, от одного корня и слово *бэрийа* — волк, и слово *бури* — серый; на чеченском *бора* обозначает масть лошади. Да и по-русски *бурка* — это конь бурой масти, а также и кличка собаки, по пословице: «по шерсти собаке и кличка».

Остается все же еще один вопрос: зачем для характеристики животных понадобились чужие, заимствованные слова? Оказывается, подобная практика существует в языке многих народов. Так, первоначальное общекарт

вельское наименование волка заменяется со временем заимствованием из других языков: в мингрельском языке – из армянского, в сванском – из греческого. В осетинской традиции, где волк был древним тотемным животным – родоначальником племени, первоначальное, теперь уже табуированное (запретное) наименование волка заменяется заимствованным – как и у нас, из тюркского: «Бэры». Последние примеры взяты мной из труда Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы», изданного в Тбилиси в 1984 году (Т. 2. С. 496).

Чужое слово органически вошло в языки разных народов, в том числе и в русский, затанув в глубине свое мифологическое прошлое, которое способна воскресить только поэтическая речь. Не случайно в русском фольклоре слово *бурый* вошло в характеристику-наименование чудесного помощника – сказочного коня: *Сивка-бурка, вещая каурка*. Знал ли поэт, каким таинственным путем пришло к нам это слово – *бурий*, зафиксированное еще в речи Даниила Заточника (XII век), – неизвестно. И все же следует прислушаться к высказыванию историка-пушкиниста Н. Я. Эйдельмана о том, что «среди 16 иностранных языков, которыми владел или интересовался Пушкин, не только европейские; восточные сюжеты, мотивы, реминисценции у Пушкина чрезвычайно многообразны, здесь еще сегодня простор для первооткрывателя» (Эйдельман Н. Я. Быть может, за хребтом Кавказа... М., 1990. С. 173). Результат, однако, перед нами: в прологе к поэме «Руслан и Людмила» сказочной русской царевне служит бурый волк.

## 2.

...белочка при всех  
Золотой грызет орех <...>

Из скорлупок льют монету  
Да пускают в ход по свету <...>

И с присвисточкой поет  
При честном при всем народе:  
*Во саду ли, в огороде...*

Эти фрагменты уже из «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Наименование зверька, кстати, также связанное с окраской его шерсти, – белка, – традиционное, а вот занятия его необычны – если даже исходить не только из житейского, но из фольклорно-сказочного опыта. В «Сказке о царе Салтане» у белки две функции, и такое удвоение свойств и поступков – характерная особенность именно этой пушкинской сказки, где, например, если уж орешки, то и скорлупки у них золотые, и ядра – чистый изумруд. Белка одновременно и снабжает валюту царство-государство, и развлекает народ песенками.



Начнем с песен. О приверженности белки музыке – разумеется, если судить по народным представлениям, – свидетельствуют миниатюры на страницах старинных книг. Одна из них, к примеру, изображает, как «кролик-меломан, наострив уши, внимаает белке-флейтистке» (Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 21). (Если же кому-нибудь из читателей захочется узнать, почему всем песням белка предпочла одну – «Во саду ли, в огороде», то, за ограниченностью текстового пространства, сошлюсь на мою книгу «Литература и фольклорная традиция». Саратов, 1980, где на стр. 123–128 можно найти почти исчерпывающий ответ.) А ель избрана белкой, быть может, потому, что именно по ели звуковые волны распространяются с наибольшей скоростью; оттого на Руси древесина ели издавна использовалась для изготовления деки (резонирующей части) балалайки и других музыкальных инструментов. Как сказано в современном журнале для лесоводов, «ель – звучащее дерево, избранница музыки» (Лес и человек. 1987. М., 1986. С. 44). Что же касается совмещения профессий, то оно больше всего подходит именно белке, ибо она очень трудолюбива, просыпается рано и уже в предутренних сумерках находится вне своего гнезда (так, во всяком случае, утверждают знатоки из того же ежегодника «Лес и человек»). Вспомним: «как белка в колесе»...

Ни в одной из известных нам народных сказок с золотом белка дела не имеет. В нашем фольклоре белка встречается в забавной сказке о животных, попавших в яму, да еще в веселых присказках и концовках («кто слушал, тому куна, белка, да красная девка, да конь вороной с золотой уздой»). Фольклорная сказка знает иных поставщиков золота – поющее дерево, говорящую птицу, кота-баюна – но не белку. Предположение о том, что Пушкин мог слышать какую-то неизвестную нам версию волшебной сказки, где золото добывает белка, не находит подтверждения – несмотря на все старания фольклористов. Да и в конспективной пушкинской записи 1822 года чудо выглядит иначе: «За морем стоит гора и на горе два борова, боровы грызутся, а меж ними сыплет золото и серебро». И только в «Сказке о царе Салтане» – белка, которая щелкает золотые орешки сначала прямо в лесу, под елью (лесоводы утверждают: в сосняке или лиственных лесах белка подолгу не задерживается, и только в ельнике она живет круглый год), а затем и в специально выстроенном для нее под елью хрустальном доме.

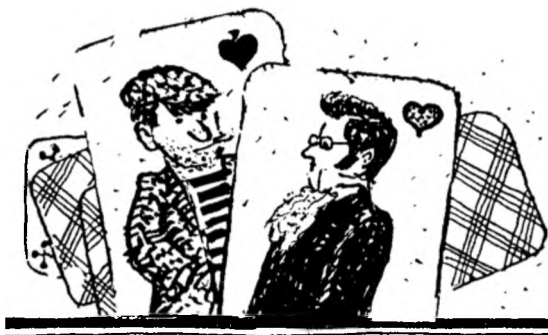
Почему же в Гвидоновом царстве «финансами» занялась белка? Не потому ли, что в древности на Руси пушнина играла роль денег, так что наименования пушных зверюшек переносились на названия монет? Отсюда такие древнерусские денежные единицы, как «бела» и «кунá» (одна кунá – 1/22 гривны, причем «куны» (мн. число) в значении «деньги» продержались в русской речи до XV века). Так что и в приведенной нами концовке слова *куна*, *белка* житель древнего Суздаля или Новгорода мог воспринимать иначе, чем мы теперь: не зверюшки, а – монеты, деньги. Академический словарь с белкой связывает и происхождение слова *алтын* (вспомним: «не было ни гроша, да вдруг алтын») от татарского *алты+гыйн* – шесть бе-

---

лок; монета в шесть медных денег, равная трем копейкам (отсюда еще не так давно распространенное наименование пятнадцатикопеечной монеты – *пятиалтынный*). Таким образом, прямое отношение белки к денежному обращению находит полное подтверждение и в истории торговли, и в истории русской речи.

А. С. Пушкин и на этот раз не ошибся.

*Волгоград*



# ФАРМАЗОН

А. А. Шунейко

«Оказывается, герой комедии Грибоедова Чацкий сдавал под залог фальшивые драгоценности...», — услышал я недавно от одного «любителя литературы». На полный недоумения вопрос последовало разъяснение: «На балу Графиня-бабушка говорит о Чацком: „Что? к фармазонам в клуб? Пошел он в пусурманы?“, а В. Пикуль в „Каторге“, перечисляя воровские профессии, упомянул: „фармазоны — продавцы стекляшек под видом бриллиантов“. Вот и получается: Чацкий — аферист.» Возникшая здесь неразбериха нуждается в объяснении, которого в начале XIX века не понадобилось бы, но в конце XX оно необходимо.

Действительно, старая графиня, не отличавшаяся хорошим слухом, называет Чацкого *фармазоном*. Причем слово здесь выступает сразу в двух значениях (прямом и переносном), характерных для литературного языка XIX века: 1-е — член тайного масонского братства, 2-е, образованное от первого на базе сходства признаков, — вольнодумец. Примером употребления второго значения может служить одна из характеристик Евгения Онегина: «Сосед наш неуч, сумасбродит, / Он фармазон; он пьет одно / Стаканом красное вино; / Он дамам к ручке не подходит...»; или описание персонажа в романе Д. С. Мережковского «14 декабря»: «Собственных крестьян своих пожелал отпустить на волю, но начальство не позволило. Фармазоном объявили, безбожником и возмутителем».

Чацкого можно было назвать *фармазоном* в том и в другом значении. Общеизвестно, что прототип Чацкого — Чаадаев, а он был масоном: «Само собой разумеется, что Чаадаев был и масоном: такова была тогдашняя мода, и большинство будущих декабристов отдали ей дань. В 1816 году

он числился уже по пятой степени в ложе Amis Réunis, где вместе с ним или до него состояли членами Грибоедов, Пестель, Волконский, Матвей Муравьев-Апостол и др.; он достиг здесь восьмой степени (тайных белых братьев), но, по-видимому, уже в 1818 году фактически оставил масонство...» (Гершензон М. О. Грибоедовская Москва. М., 1989. С. 117). Не нуждается в подробных комментариях и то, что Чацкий в общепризнанном смысле этого слова был вольнодумцем.

Слово *фармазон* произошло от *фран-*, или *франк-масон* — «вольный каменщик», а последнее было заимствовано в русский язык из французского (от *franc-maçon*) ориентировочно в конце XVII — начале XVIII веков. Есть и иное объяснение: «Слово *free-mason* — франк-масон (свободный каменщик) перешло из английского в другие европейские языки уже после того, как оно потеряло и в Англии свой первоначальный смысл, и вопрос о происхождении его сделался темным» (Масонство. Т. I. М., 1991).

Сразу после заимствования слово имело одно значение — «член тайного масонского братства». Второе — «вольнодумец» сформировалось позднее, и какое-то время оба существовали параллельно. Затем, к концу XIX века второе значение практически вытеснило из употребления первое, что связано с запрещением масонства Александром I и со сменой наименования: *франк-масон* на *масон*. Не случайно В. И. Даль в своем словаре фиксирует только второе значение этого слова «вольнодумец и безбожник» (с пометой бранное). Немаловажно, что между двумя значениями слова прослеживается тесная связь, перенос по сходству признаков от первого ко второму, и их эволюция находит четкое объяснение в рамках языка.

Теперь перейдем к примеру из В. Пикюля. Перечисляя различные воровские специальности, автор не ошибается: слово *фармазон* в значении «мошенник, выманивающий деньги с оставлением в залог фальшивых бриллиантов» фиксируется словарями воровского жаргона, например, «Словарь жаргона преступников (блатная музыка)» (М., 1927) и с определенными сдвигами в семантике используется в художественной литературе: «Что же, я жулик, или фармазон константинопольский, или неизвестный вам человек? Можно бы, кажется, поверить генералу, который имеет свое торговое дело рядом с бегами?» — говорит Чарнота в пьесе М. А. Булгакова «Бег».

Откуда в воровском жаргоне возникло подобное словоупотребление, проникшее затем в разговорную речь? Можно предположить, как это делают авторы «Толкового словаря уголовного жаргона» (М., 1991), что оно прямо восходит к французскому *franc-maçon* или сформировалось на базе второго значения слова *фармазон* в литературном языке: Д. С. Лихачев указывает, что многие слова воровского жаргона возникли на базе метафорического переноса (Язык и мышление. III—IV. М.—Л., 1935). Но в данном случае установить связи между «безбожник, вольнодумец» и «мошенник, аферист» нельзя — их семантика существенно различна.

Попытки отыскать некоторое передаточное звено между двумя этими значениями (такое словоупотребление, которое позволило бы объяс-

нить, как от одного образовалось другое) тоже ни к чему не приводят. Такое звено в первую очередь следует искать в народной разговорной стихии, но здесь мы сталкиваемся с иным восприятием *фармазона*. М. Забылин так характеризует восприятие *фармазона* народной культурой: «*Франк масоны*. Известное братство, существовавшее до начала нашего столетия в большой силе. Наши простолюдины про масон говорят вот какие странные вещи: тот, кто вступит в члены Франк масонского ордена, тот неоступно должен исполнять все условия ордена, состоящие в том, чтобы не изменять его тайнам и не оставлять его для этой цели; будто бы вступающий должен дать рукописание своею кровью, а с него его же кровью пишут портрет и вешают на стене совета франкмасонской ложи. Если портрет почернеет, то значит вступивший изменил секте. Тогда стоит только одному из членов выстрелить в портрет, и оригинал его немедленно умрет в ту же минуту, несмотря ни на какое расстояние. Тоже говорят, что кто подслушает что-либо у Франк Масонов тайно, тот оглохнет. В народе называли их *фар-мазоны*» (Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1989). Это представление базируется на семантической сфере именно первого значения слова *фармазон* (член тайного братства) и не имеет ничего общего ни со вторым значением, ни с употреблением в воровском жаргоне. Следовательно, предположение о том, что *фармазон-аферист* произошло от *фармазон-вольнодумец* (а тем более от *фармазон* — член тайного братства), несмотря на их фонетическую идентичность, приходится оставить.

Верное направление поисков подсказывают размышления Владимира Личутина, автора романа «Фармазон»: «Фармазоном на Севере называли дьявола, несущего удачу в делах, *фартового* [подчеркнуто мной. — А. Ш.] дьявола. И мне хотелось показать одного из современных „бесов“, понять, как в нашей действительности они могли возникнуть... Это роман о „фармазонщине“, коя принимает ныне самые невероятные формы...» (Слово. 1991, № 4). Отчетливо видно, что в народном представлении слово *фармазон*, которое в данном контексте выступает еще в одном значении — «дьявол, несущий удачу», связывается с другим словом из воровского жаргона — *фартовый*. И думается, что дело здесь вовсе не в народной этимологии, а в том, что между этими словами существует генетическая связь, свидетельствующая о том, что *Фармазон* литературного языка и *фармазон* воровского жаргона — это омонимы, не имеющие между собой в генетическом плане ничего общего. *Фармазон* воровского жаргона возник в рамках этого жаргона на базе двух слов: *фарт* и *маз*.

Это предположение подтверждается рядом фактов воровского жаргона. На его правомерность указывают: словообразовательная продуктивность в рамках жаргона компонентов, образовавших слово, и продуктивность самой словообразовательной модели.

Слово *фарт* обозначает «счастье, удачу, деньги»: «Андрей Михайлович, первый фарт [украденный кошелек. — А. Ш.] тебе отдал, дай хоть копеечку на счастье...»: «А по ночам из подземелий „Сухого оврага“ выполняли

на *фарт* „деловые ребята“ с фомками и револьверами...» (Вл. Гиляровский. Москва и москвичи). От этого слова образовано много производных: *фартит* — «везет»: «Бью тузом вашу семерку! Наконец-то и мне фартит! [из речи мелочного шулера начала XX века.— А. Ш.]» (Иванов Е. Меткое московское слово. М., 1989). *Пофартило* — «повезло»: «А в четверг пофартило, говорят, в Гуслицах с кем-то купца пришел...» (Вл. Гиляровский): «Пофартило нам, четырех добрых коньков купили [украли.— А. Ш.], так почему же не стремить» (Ковыль-Бобыль И. Вся правда о Распутине. М., 1990). *Фортушка* — «карточная игра»: «Я много лет часами ходил по площади, заходил к Бакасову и в другие трактиры, где с утра воры и бродяги дуются на бильярде или в азартную биксу, или в фортушку...» (Вл. Гиляровский). Особенно важно то, что *фарт* послужил основой образования ряда личных существительных; *фартовые*: «Што мы фартовые, в Тюмени не то што менты и грудные дети знают» (И. Ковыль-Бобыль). *Фартовый*: «Была у меня еще до войны кликуха — артист. В смысле — человек фартовый, может, как говорится, шевелить ушами. Так и записали в дело — артист» (Довлатов С. Представление. Звезда. 1990. № 10). *Фартун* — «искатель счастья на дармовщинку»: «А другой жилится, с хозяином торгуется, тебя будто не видит. Стрелки на дармовщинку, подешевле — больше чишушки или фартуны!.. От такого фартуна с ветром, как с козла молока! [из речи портных начала XX века.— А. Ш.]» (Е. Иванов). А также *фартитцер* — «помощник карманника», *фартовая скамейка* — «лошадь, приученная к похиждению конокрадов», *фартовик* — «бывалый; профессиональный вор; постоянный, частый обитатель гюрьмы» и др. Такая словообразовательная активность *фарта* сама по себе показательна и косвенно подтверждает выдвинутое предположение.

Аналогичная картина наблюдается со словом *маз* — «торговец, „сведущее лицо“, учитель»: *мазь* — «мошенник высшей марки», *мазиха* — «дама (карта) или принадлежащая к преступному миру женщина», *мазуха* — «подвал» (Словарь жаргона преступников). В Чалидзе в книге «Уголовная Россия» (М., 1990) пишет, что *мазом* именуется лидер воровской группы, а «...взаимное заступничество обозначается словом *маза*, о выгораживании соучастника на следствии говорят *отмазывать*». Как видно, и здесь словообразовательная активность в кругу личных существительных высока.

Не являются чем-то особенным для воровского жаргона и сложносоставные слова (то есть слова типа *фармазон*). В его рамках очень часты случаи образования подобных слов от двух и более основ, выступающих и как самостоятельные лексемы. Например: *мара(о)вихер* — аристократ, карманник высшего полета, путешествующий вор (от *мар+вихер* — «карманник»), *шопенфиллер-наховирку* — вор, специальность которого кража из ювелирных магазинов (от *шопать* — «воровать, красть» + *филлер+наховирку* — «драгоценные камни») и др.

Все это, как и то, что в воровском жаргоне встречаются личные существительные на *-он* (*пижон, ламдон, фараон* и др.), позволяет предпо-

ложить, что *фармазон-аферист* — слово, возникшее именно в рамках этого жаргона и никак не связанное с тем *фармазоном*, которым называли Чацкого; эти слова — омонимы, появившиеся из различных источников (одно было образовано, а другое заимствовано).

Предположение тем более не беспочвенное, что, приняв его, не придется выдумывать никаких семантических переходов, так как значения слов *фарт* и *маз/мазь* спокойно укладываются в производное *фармазон*. Таким образом, *фармазон*=*фарт* — «удача» + *мазь* — «мошенник»; буквально — мошенник, имеющий удачу, с последующей конкретизацией способа ее добывания. Первоначально *фармазон*, вероятно, имел вид *фартмазон*, но глухой согласный между двумя сонорными был утрачен.

В свою очередь слово *фармазон-аферист* послужило базой для образования новых слов: *фармазонщик* — «Разве теперь игроки! Портяночники! Шантрапа!.. Прежде было искусство, а теперь? Ишь какое искусство — прометать готовую накладку!.. А подсунуть ее в десять колод железки всякий фармазонщик сумеет... Ни ума, ни искусства тут не нужно» (Вл. Гиляровский). *Фармазонство* — «„Свадьбу Кречинского“ помните? Уж на что был искусник Михаил Васильевич Кречинский, а занялся не своим делом, на фармазонство перешел, булавку сменил, как последний подкидчик, ну и пропал! За чужое дело не берись!» (Вл. Гиляровский); «Здесь-то [в детской воспитательной колонии. — А. Ш.] я и прошел свой первый настоящий техникум, правда, на самом низшем уровне: „две пельки“, „три карточки“, примитивное фармазонство. На первых порах после освобождения этого хватало, чтобы не умереть с голоду» (Максимов В. Карантин. Москва, 1991. № 1).



Е. В. Лармонов

Броское заимствование с завидной частотой мелькает на страницах прессы. Своим звонким «дж» то и дело слетает с уст практической молодежи. Это название детской игры и одной из недавно возникших газет. Фактор моды концентрирует внимание на этом ярком и свежем слове: «Модное нынче слово „менеджер“ — в определенной степени неологизм, продукт начавшейся экономической реформы. Заимствованное на Западе, оно буквально переводится как предприимчивый руководитель, управляющий» (Огонек. 1989. № 9) В одном из своих значений «предприниматель, организующий тренировки и выступления спортсменов-профессионалов в кап. странах» заимствование представлено в Словаре новых слов и значении по материалам прессы и литературы 60-х годов (1971).

А между тем это слово далеко не новое в русском языке и имеет в нем свою историю. *Менеджер* англицизм, т. е. заимствованное слово из английского языка. У него много значений: руководитель коммерческого или промышленного предприятия, отдела, общественной организации, директор, заведующий; человек, который ведет домашнее хозяйство, хозяин; человек, ведущий коммерческую сторону артистического, спортивного или другого зрелищного предприятия, представляющий финансовые интересы эстрадного артиста, спортсмена. Многозначность формировалась в течение длительного времени, а самая ранняя фиксация относится к XVI в. В широком значении «человек, который руководит чем-либо», слово встречается у Шекспира в «Бесплодных усилиях любви» (1588).

В русском языке английское слово *manager* первоначально обозначало «режиссер в английских театрах» (Словарь Мартыновского и Ковалевского. 1894). Значение «театральный режиссер» дается также другим большим словарем иностранных слов — Чудинова (1908), что сужает его значение времени заимствования, отраженное в Большом Оксфордском словаре английского языка: *manager* «человек, чьи служебные обязанности состоят в руководстве коммерческим предприятием или общественным учреждением. Главным образом применительно к определенной области: тот, кто руководит театром или другим зрелищным предприятием...»



В дальнейшем значение экзотического слова уточняется, оно используется в русском языке синонимично слову *импресарио*, для обозначения предпринимателя, занимающегося организационными и финансовыми вопросами выступлений артистов. Со второй половины XX века оно регулярно употребляется в текстах, описывающих индустрию развлечений капиталистических стран: «Очередная сенсация — это опять он, Майкл Джексон (...) Так кто же он? Талантливый певец, вечно юный бог танца или запрограммированный „синтетический идол“, охотно выполняющий все, что предлагают ему менеджеры?» (За рубежом. 1991. № 24).

Именно в значении «импресарио» английское слово *manager* впервые стало известно многим языкам и прочно вошло в их лексический фонд, например, чешское *manažer*, немецкое *Manager*, шведское *mänağer*, французское *manager*.

В русском языке, по данным словарей, одновременно функционировали спортивные термины: *менажёр* — фр. *menageur* и *менажер* — англ. *manager*. На первый взгляд может показаться, что разница между этими словами несущественна и заключается в месте ударения и огласовке суффикса: *-ёр* у галлицизма (слово французского происхождения), *-ер* у англицизма. Но в самой форме *менажер* с неожиданным *ж* на месте *дж* отчетливо видно французское влияние. Дело в том, что прототипы — совершенно разные слова, фр. *menageur* «умеющий обходиться с людьми»; фр. *manager* «беречь, умело вести, обходиться осторожно»; англ. *manager* «управляющий, заведующий»; англ. *to manage* «управлять, руководить», восходящие также к разным латинским словам (франц. *menager*, лат. *mansio* «большой дом, особняк», англ. *to manage*, лат. *manus* «рука»). Этот факт означает, что мы имеем дело с разными словами.

Спортивные термины *менажёр* и *менажировать* были широко известны в 30-х годах, поэтому и попали на страницы словарей: *менажер* англ. *manager* «руководитель профессионального боксера, берущий на себя всю организационную сторону его карьеры, а также общее наблюдение за тренировкой и образом жизни боксера; старший ассистент боксера во время матча» (Словарь иностранных слов. 1933); *менажировать* «[фр. *menager* беречь] (спорт.). Помогать, охранять (спортмена во время состязания)», *менажёр* «лицо, которое менажирует спортсмена во время состязания» (Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова. 1938).

После фиксации 30-х годов слова *менажёр* и *менажер* больше в словарях не встречаются. В 60-х годах в Кратком словаре иностранных слов С. М. Локшиной (1966) впервые появляется *менеджер* «то же, что импресарио (главным образом в зарубежном спорте)». В 70-х годах слово отмечается в Словаре новых слов и значений (1971) и включается в большой Словарь иностранных слов под ред. А. Г. Спиркина (1979) со значением «предприниматель в профессиональном спорте, организующий тренировку и выступления спортсменов-профессионалов». Заимствование стало широко известным спортивным термином, активно употребляется в прессе сегодняшнего дня: «...в НХЛ, похоже, грядет большой скандал. Из профсоюзной

кассы исчезли 45 миллионов долларов, к которым якобы приложили руку менеджеры клубов, а игроки, узнав об этом, пригрозили всеобщей забастовкой в случае, если деньги не вернут» (Известия. 1991. 2 мая); «Менеджер футболиста и его доверенное лицо Маркос Франчи, неизменно сопровождающий его в поездках и являющийся одним из его наиболее близких друзей, попытался оправдать своего подопечного, заявив, что тот стал употреблять наркотики под воздействием переживаний...» (Известия. 1991. 2 мая).

Слово *менеджер* в значении «управляющий, заведующий, руководитель, администратор» появляется в 1974 году в Кратком словаре иностранных слов под ред. С. М. Локшиной (4-е издание). Позднее в большом Словаре иностранных слов (1979 г.) как «наемный управляющий в капиталистическом производстве, специалист по управлению». Во второй половине 80-х годов отмечается высокая частота его употребления. Слово теряет свою чуждость, экзотичность, становится привычным элементом повседневного словаря, полноправным синонимом слов *руководитель, глава, директор, управляющий, администратор, заведующий*. Нередко само объяснение его в цитате может значительно отличаться от словарного, поскольку включает актуальное его значение на сегодня: «...оно буквально переводится как предпринимчивый руководитель, управляющий. (...) Будучи руководителем абсолютно нового типа, менеджер должен исповедовать и совершенно новые, если так можно выразиться, экономические идеалы» (Огонек. 1989. № 9).

В период экономических реформ возникла необходимость в подготовке специалистов по управлению на основе накопленного в мировой практике опыта, сама же профессия в короткий срок стала довольно популярной и престижной. Этим объясняется то, что во многих случаях употребления слова в его общем значении «руководитель» особо подчеркивается профессионализм, профессиональность управления: «Школа юных менеджеров открыта при учебно-производственном комбинате Центрального района Оренбурга. (...) Практика показывает, что без организаторов-специалистов уже сегодня трудно обойтись, а завтра станет просто невозможно» (Учит. газета. 1989. 19 янв.); «Не случайно на Западе школы, которые готовят менеджеров, называются школами деловой администрации или школами бизнеса» (Огонек 1989. № 9).

Итак, на сегодня именно одобрительный оттенок в значении заимствования *менеджер* зачастую отличает англицизм от синонимичных ему слов русского языка *директор, администратор*, на которых лежит печать административно-командной системы, бюрократического стиля руководства: «Не стоит, наверное, удивляться, что многие воспринимают происходящие в стране перемены больше как смену вывесок. Был Совмин — стал кабинет, было министерство — стал комитет. (...) Какая разница? Или кто-то надеется, что если на человека поверх ярлыка „бюрократ“ наклеить табличку „менеджер“, он станет работать лучше?» (Сов. культура. 1991. 8 июня). Это тем более интересно, что слово *менеджер*, еще лет пять назад обозна-

чающее исключительно чужую реалью, если и окрашивалось, то только отрицательно, это было реакцией на идеологическое противостояние двух общественных систем.

В других языках, в частности, в немецком, англицизм может употребляться в резко сниженном значении: Manager «предприниматель, организатор, устроитель (чего-либо); разг. заправила». Кстати, в переводных текстах нередко встречается прощическая окраска у рассматриваемого слова, например в статье итальянского журналиста: «Затем <...> в моду вошел стиль „молодого менеджера“, человека напористого и способного молниеносно принимать необходимые решения, пренебрегая какими бы то ни было законами, кроме закона высшей прибыли» (Лит. газета. 1985. № 23). Как видно, неодобрительный оттенок приобретает за счет негативной оценки такой деятельности, в которой успеха добиваются любыми средствами.

Какова будет судьба слова *менеджер* в русском языке, покажет время. Но как бы то ни было, триумфальный взлет этого чужого слова не остался незамеченным, поскольку оно уже попало на страницы Словаря русского языка С. И. Ожегова, 21-го, переработанного и дополненного издания (1989): *менеджер* «специалист по управлению производством, работой предприятия».

Магадан

## Правописание личных окончаний глаголов

В. Г. Зданкевич

Когда личные окончания глаголов находятся под ударением, их написание не вызывает сомнений: письмо не расходится с произношением. Написание же неударяемых окончаний определяется следующими правилами.

- 1) проверяемый глагол следует поставить в неопределенную форму;
- 2) определить, какая гласная стоит перед *-ть*, и запомнить:

а) глаголы, оканчивающиеся на *-и-ть* (кроме *брить, стелить, ждать* ся), и глаголы *смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, обидеть, терпеть, вертеть, знать, держать, дышать, слышать* относятся ко II спряжению и имеют в окончаниях *-и-, -ат(-ят)*;

б) все остальные глаголы относятся к I спряжению и имеют в окончаниях *-е-, -ут(-ют)*.

Казалось бы, здесь не должно возникать особых затруднений в написании окончаний глаголов. А между тем ошибки, связанные с этим случаем правописания, нередки. Один (и, возможно, главный) их источник — глаголы в инфинитиве, на конце которых произносятся звукосочетание *-и-ть*, но не всегда пишется *-и-ть*. И таких глаголов у нас примерно шесть тысяч.

Ориентироваться в вопросах их правописания станет несравненно легче, если разделить их по признаку произношения на две группы: первую группу составят глаголы в инфинитиве с ударяемым суффиксом *-и-ть*; вторую группу — глаголы в инфинитиве с неударяемым суффиксом *-и-ть*.

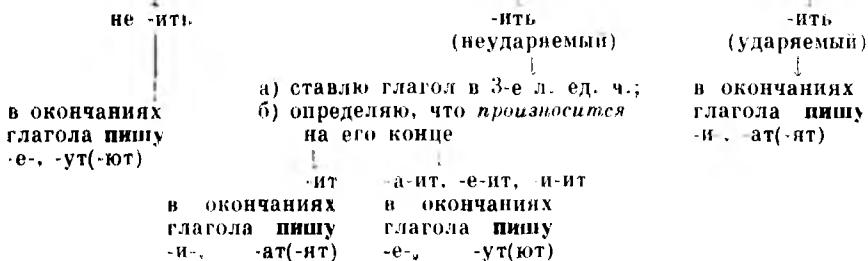
Правописание глаголов 1-й группы не представляет для пишущих какой-либо трудности, так как у них написание суффиксов совпадает с их произношением (например *леч[и-ть]* — *лечить*; отсюда: *лечишь, лечит, лечим, лечите, лечат*); и личные окончания у глаголов этой группы всегда (кроме глаголов *брить, стелить*) одни и те же — *-и-, -ат(-ят)*: *строч[и-ть]* — *строчит — строчат*; *пил[и-ть]* — *пилит — пелят* и т. д.

Серьезные затруднения может вызывать у пишущих правописание личных окончаний глаголов 2-й группы, потому что, произнося *[и-ть]*, пишем *-и-ть, -е-ть* или *-я-ть*; и личные окончания у этих глаголов разные: у одних — *-е-, -ут(-ют)*, а у других — *-и-, -ат(-ят)*. Мы, например, произносим *маяч[и-ть]*, *кле[и-ть]* и пишем *маячить, клеить*, поэтому — *маячит, маячат*; *клеит, клеят*; но, произнося *плеснев[и-ть]*, *посе[и-ть]*, пишем *плесневеть, посеять* и, значит, *плесневеет, плесневеют, посеет, посеют*.

Для определения спряжения этих глаголов мы рекомендуем схему действий, владея которой, абитуриенты смогут успешно решать эту правописную задачу.

## Схема действий пишущего

- 1) Ставлю глагол в неопределенную форму.  
 2) определяю, какой суффикс *произносится* на его конце



ПРИМЕЧАНИЕ: 1) глаголы *брить, стелить* в личных окончаниях имеют *-е-, -ут(-ют)*; 2) восемь глаголов: *драить, клеить, знать, держать, дышать, смотреть, терпеть, вертеть* - в личных окончаниях имеют *-и-, -ат(-ят)*.

Таким образом, если в глаголе неопределенной формы перед *-ть* произносится ударяемый гласный [и], то и в спрягаемых формах (в окончаниях) следует писать букву *и*: *-ишь, -ит, -им, -ите*; в 3-м лице мн. ч. *-ат(-ят)*.

Если же в неопределенной форме глагола перед *-ть* произносится неударяемый гласный [и], то написание личных окончаний необходимо проверить. В этом случае к данному глаголу следует задать вопрос: «Что он делает?» или «Что он сделает?», то есть поставить глагол в 3-е лицо ед. ч.

И если на конце глагола произносится [-ит], то в спрягаемых формах (в окончаниях) пишется буква *и*: *-ишь, -ит, -им, -ите*; в 3-м лице мн. ч. *-ат(-ят)*; если же перед личным окончанием (-ит) произносится *а, е* или *и*, то в спрягаемых формах пишется буква *е*: *-ешь, -ет, -ем, -ете*; в 3-м лице мн. ч. *-ут(-ют)*. Та же буква *е* (и *-ут* или *-ют*) пишется в личных окончаниях глаголов во всех других случаях.

Итак, запомните: в личных окончаниях глаголов следует писать *-и-, -ат(-ят)* лишь в трех случаях:

- а) при наличии в инфинитиве ударяемого *-ить* (кроме *брить, стелить*);
- б) в глаголах *драить, клеить, знать, держать, дышать, смотреть, терпеть, вертеть*;
- в) при наличии в инфинитиве неударяемого *-ить*, если в 3-м лице ед. ч. глагол (кроме *ожидаться*) оканчивается на *-ит*, но не на *а ит, е-ит, и-ит*. В остальных случаях пишется *е, -ут(-ют)*.

## Лица кавказской национальности или кавказцы?

Года четыре назад один из авторов «Московских новостей» возмущался появлением в газетах и на радио словосочетания *лица еврейской национальности*. Он увидел в этом экспансию бюрократического словоупотребления и даже уничтожение евреев: никого, мол, больше так не называют, специально для них сочинили такую конструкцию.

Да, возмущаться следует: это экспансия канцелярита (термин К. И. Чуковского). Но нет в ней антисемитского духа. Здесь другая подоплека. Модель этой конструкции родилась в сороковые годы в недрах *высоких канцелярий*. Когда в 1944 году депортировали крымских татар, то писали в официальном документе о *лицах крымско-татарской национальности*. Заметьте, как хитро сказано: выселяют не крымских татар как таковых, а *лица крымско-татарской национальности*. Лица как бы отделяются от народа. Против народа, мол, мы ничего не имеем, мы же интернационалисты. А вот лица...

Лицемерие тоталитарного режима было беспредельным. Эвфемизм образца 1944 года стал достоянием канцелярского слога, прижился там. А сейчас наблюдается его бурное вторжение в газетную и радиотелевизионную речь, где встречаемся с «лицами албанской национальности в Югославии», «лицами немецкой национальности, покидающими СССР», «лицами русской национальности, живущими в КНР», «лицами армянской, лицами азербайджанской национальности». И «Московские новости», позабыв о своем неприятии, спокойно сообщают: «Внутренние войска... освободили 5 заложников абхазской национальности» (1989, № 30). А теперь и в официальных документах, публикуемых в печати, читаем о *лицах грузинской и осетинской национальностей*.

Почти полвека спустя эта словесная конструкция эстетизировалась в языковом сознании бюрократа, чиновника, обрела и этическое достоинство: сказать *немец (еврей, армянин и т. д.)* как бы несолидно, неудобно, куда солиднее, деликатнее *лицо немецкой (еврейской, армянской и т. д.) национальности*. А тут уж рукой подать до подаренных нам потомков этой конструкции — удивительных и загадочных словосочетаний *лица кавказской национальности, лица южной национальности*. Удивительны они потому, что этнографии неизвестна ни кавказская, ни южная национальность, как, впрочем, и балканская, пиренейская, скандинавская вкупе с северной и восточной. А загадочны эти выражения оттого, что на Кавказе и Юге много национальностей: о людях какой из них идет речь?

«Известия» (1991. 6 нояб.) сообщили, что в Израиль прибыло столько-то тысяч «лиц еврейской принадлежности». Этим перлом газета может гордиться: до такого еще никто не дописался. А на следующий день она же порадовала читателей известием о «лицах индийской национальности», совершенно забыв, что Индия многонациональна.

В той же газете (1991. 16 дек.) читаем: «...инспектор ГАИ с площади Маяковского... передал, что мимо него на большой скорости пронеслись бежевые „Жигули“ с теми, кого в милицейских сводках принято обозначать как „лица кавказской национальности“». Плохо, когда милицейские сводки используют столь неопределенные приметы правонарушителей и вступают в конфликт с языком. Еще хуже, когда газетчики подражают слогу составителей сводок.

Ни один из тех, кто пишет или говорит «лица осетинской», «лица кавказской национальности» и т. п., сам, когда заполняет пресловую пятую графу листка по учету кадров, не пишет в ответ на ее вопрос «национальность» — русская или украинская, или татарская, уж тем более ни за что про себя не скажет, что он *лицо русской национальности* или *лицо украинской национальности*.

Этими плодами канцелярита заражено немало журналистов, которые, в свой черед, бездумно тиражируют заразу. С их помощью в язык проникла словесная модель, порожденная ханжеством, лицемерием и языковым невежеством. И Михаил Рощин возмущенно спрашивает: «...что нам делать теперь с идиотской этой вошедшей в обиход гнусно-газетной формулой?» (Огонек. 1990. № 41). Что делать? Да объявить ей бойкот. И говорить, как и говорили: *татары, грузины, осетины, кавказцы, южане, скандинавы* и т. д.

Эр. Хан Пира,  
кандидат филологических наук

## Как мы говорим

Всех нас объединяет или разъединяет слово, которое идет к нам по радио, телевидению, из газет и журналов, из современной и классической литературы, наконец, из разговорной речи – ежедневного и ежечасного средства общения людей.

Но как редко мы слышим сейчас подлинно русский язык от наших современников – писателей, публицистов, ораторов...

Возможно, приведенные здесь наблюдения, анализ ошибок и примеры привлекут внимание говорящих и пишущих, уберегут от погрешностей. Обратимся, например, к распространенному выражению «представляете...», в котором многими не ощущается необходимости добавления некогда обязательного слова «себе». А между тем отсутствие этого слова оправданно только в трех случаях: когда кто-то кого-то представляет (знакомит, рекомендует); когда речь идет о театральном представлении; наконец, когда представляются (предъявляются) какие-то документы, предметы... Во всех других случаях оба слова должны употребляться совместно: *представляете себе*. Связь этих двух слов начала разрушаться в 60-х годах. С тех пор эта ошибка тиражировалась, неправомерное употребление типа: *Представляете, он пришел домой...* – можно встретить на страницах любых изданий.

Та же тенденция к сокращению оборотов проявляется в случае, когда вместо сочетания «обменяться мнениями» используется только первая его часть. Так, постоянно на слуху фразы типа следующей: *«Надо обменяться, чтобы принять правильное решение...»*. При этом произносящие их забывают, что слово «обменяться» обязательно влечет за собой дополнение.

Неправомерно сочетание слов «сколько много», следует говорить *«так много»* или *«настолько много»* и *«так мало»*.

В классической литературе иногда применялся оборот категорического отрицания: «отнюдь нет». Например, после вопроса: «Хочешь ли ты пойти с ним?» мог последовать ответ «Отнюдь нет». Некоторые авторы современных произведений, желая использовать этот оборот, берут первую часть и произвольно опускают вторую: произносят «отнюдь» и получается неполное отрицание, недосказанность, режущая ухо.

Следующий пример послужит хорошим доказательством того, насколько осторожного обращения требует слово. Имея в виду «структуры власти», журналист употребил свежий оборот, написав: «властные структуры» (Правда. 1991. 5 марта). Но употребление прилагательного вместо существительного привело к искажению смысла: при этом у читающего невольно возникает ассоциативная связь – «властный человек», «властный жест»



и т. п., а на самом деле речь идет о структурах власти безотносительно к ее силе и характеру.

Большую группу ошибок составляют случаи неверного выбора слова. В каких, например, речевых ситуациях следует предпочесть слово «благодаря», а в каких «из-за»? Здесь многие ошибаются. («*Благодаря* неверной информации было принято роковое решение»; «*Из-за* своевременной информации он успел подготовиться»). Дело в том, что само слово «благодаря» означает благодарность за что-то положительное, полезное, приятное и употребляется в этих случаях: «*Благодаря* своим знаниям он успешно работает». Слово же «из-за» употребляется, наоборот, в отрицательных случаях: «*Из-за* трудностей с транспортом он опоздал».

Неправильный выбор слов приводит к таким, например, фразам, как «более малочисленные народы Севера», «в городе *достаточно* беспокойно», «страна *встала* на путь реформ», «мы встретились *где-то* около пяти часов вечера», «передавали по *телевизору*». Правильнее, на наш взгляд, сказать: «самые малочисленные народы Севера», «в городе *довольно* беспокойно», «страна *стала* на путь реформ», «мы встретились *приблизительно* около пяти часов вечера», «передавали по *телевидению*».

Всегда были и будут так называемые типовые, «модные», слова и выражения. Характерная особенность этих слов состоит в том, что после первых случайных произнесений они заимствуются чуть ли не в геометрической прогрессии, хотя ранее без них свободно обходились. Некоторые такие «словечки» постепенно выходят из обихода и забываются, другие — присутствуют в нашей речи десятилетиями. С восьмидесятых годов слово «естественно» стало все чаще заменять слово «конечно», которое в большинстве случаев более пригодно. Но само слово «конечно» начали использовать не по его смыслу, а как связку, переход к новой фразе: «вы, *конечно*, извините».

С шестидесятых годов в ответ на вопросы «Как вы себя чувствуете?», «Как ваши дела?» вместо человеческих и простых слов «хорошо», «да так», «неважно», «отлично», мы нередко слышим безликое, усредненное и выхолощенное: «нормально». Оно абсолютно лишено содержания, но тем не менее активно используется.

Ну и совсем недавно стало почти правилом характеризовать состояние общества как «неоднозначное», «непростое», видимо, в попытке придать оценке загадочность и вес, которых лишены вытесненные слова «неоднозначное», «трудное».

В рекламе и объявлениях, бурно атакующих радио и телевидение, звучало: «контактный телефон», и отныне все рекламодатели считают нужным повторять эти слова, как будто не ясно, что телефон для того и служит, чтобы устанавливать контакты, получать справки. Не проще ли было указывать просто «телефон» или как раньше «телефон для справок».